

« П О Д П О Л Ъ Н Я Р О С С И Я »



**Е. ТАРАТУТА**

# **ПОДПОЛЬНАЯ РОССИЯ**

**СУДЬБА КНИГИ  
С.М. СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСКОГО**

**Е. ТАРАТУТА**

# **ПОДПОЛЬНАЯ РОССИЯ**

**СУДЬБА КНИГИ  
С.М. СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСКОГО**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»  
МОСКВА 1967**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |            |
|---|------------|
| ПРОСЛАВЛЕННАЯ И ЗАБЫТАЯ . . . . .                         | 5          |
| ЭНТУЗИАСТ . . . . .                                       | 11         |
| ГИМН И РЕКВИЕМ . . . . .                                  | 43         |
| КНИГА ИДЕТ ПО ЕВРОПЕ . . . . .                            | 94         |
| Первые отзывы. П. Л. Лавров . . . . .                     | 94         |
| Первые отзывы. Элизе Реклю . . . . .                      | 108        |
| Дискуссия, единственная в своем роде . . . . .            | 112        |
| Профиль Стефановича . . . . .                             | 139        |
| «Подпольную Россию» читают на всех языках . . . . .       | 158        |
| Голоса европейской прессы . . . . .                       | 165        |
| Альфонс Додэ и Эмиль Золя о «Подпольной России» . . . . . | 179        |
| Новые замыслы . . . . .                                   | 182        |
| Первый отзыв на русском языке . . . . .                   | 189        |
| Жандармы о «Подпольной России» . . . . .                  | 194        |
| М. Н. Катков и другие . . . . .                           | 196        |
| КНИГА ПРИШЛА НА РОДИНУ . . . . .                          | 203        |
| «Подпольная Россия» в Российской империи . . . . .        | 203        |
| Книга вербует кадры революции . . . . .                   | 213        |
| Вопрос к читателю . . . . .                               | 225        |
| И. С. Тургенев читает Кравчинского . . . . .              | 227        |
| Что нашел в «Подпольной России» Лев Толстой? . . . . .    | 239        |
| ПОЭЗИЯ И ПРАВДА . . . . .                                 | 246        |
| <i>Именной указатель . . . . .</i>                        | <i>268</i> |

*Владимир Ильич часто говорил, что невольное наше деление литературы на легальную и нелегальную приносит огромный вред для изучения и познания художественно-критического и публицистического творчества XIX века. Он часто говорил, что наступит время, — и это время наступило! — когда мы, наконец, воссоединим литературу, которая создавалась по ту и другую сторону границ самодержавной России, когда мы, наконец, будем в состоянии изучать ее всю целиком и полностью и обратим самое серьезное внимание на то, что многие авторы должны были волей-неволей печататься за границей...*

*...Владимир Ильич всегда так настойчиво требовал, чтобы в наше время эта нелегальная литература и издавалась и изучалась как можно шире.*

Вл. Бонч-Бруевич.  
«Ленин о книгах и писателях»





# ПРОСЛАВЛЕННАЯ И ЗАБЫТАЯ

В середине 80-х годов прошлого века молоденькая англичанка Лили Буль, будущий автор «Овода», прочитала книгу о русских революционерах — «Подпольную Россию» Степняка. «„Подпольная Россия” произвела на меня глубокое впечатление», — писала она десятилетия спустя. Эта книга во многом определила ее жизненный путь. Лили Буль познакомилась с ее автором — Степняком, поехала в Россию, а вернувшись, стала помощницей Степняка. Этель Лилиан Войнич пропагандировала идеи русской революции, принимала участие в издании и транспортировке в Россию нелегальной революционной литературы, переводила на английский язык произведения русских писателей, создала роман о герое-революционере.

Марк Твеп писал Степняку в апреле 1891 года: «Я прочитал „Подпольную Россию” от начала до конца с глубоким, жгучим интересом. Какое величие души!

Я думаю, только жестокий русский деспотизм мог породить таких людей! По доброй воле пойти на жизнь, полную мучений, и в конце концов на смерть, только ради блага других — такого мученичества, я думаю, не знала ни одна страна, кроме России».

Известный английский писатель Вильям Моррис писал дочери в 1883 году: «Я только что прочитал „Подпольную Россию”. Это интереснейшая книга, но как страшно ее читать...»

Через три года Вильям Моррис заявлял, что именно под влиянием «Подпольной России» он стал социалистом, стал заниматься социалистической пропагандой.

Один из революционных деятелей в южно-славянских землях Перо Слиепчевич писал в своих воспоминаниях: «В „Подпольной России” Степняка мы находили величие революционной акции, героизм, сильные характеры и целую галерею примеров для подражания... Русские казались нам исполинами атеизма и республиканизма».

С большим интересом встретили «Подпольную Россию» Эмиль Золя и Альфонс Додэ.

Крупнейший французский ученый-географ и общественный деятель Элизе Реклю восторженно отзывался о «Подпольной России».

За короткий срок «Подпольная Россия», вышедшая в 1882 году на итальянском языке в Милане, была переведена на португальский, английский, французский, немецкий, датский,

шведский, испанский, голландский, польский, болгарский, венгерский языки, издавалась полностью или отрывками.

П. А. Кропоткин писал о «Подпольной России»: «...когда она стала известна в Англии, она оказывала глубокое влияние на отзывчивые натуры — влияние, способное даже заставить таких людей критически отнестись к своей прежней жизни и изменить ее... согласно с новым идеалом».

«Для западноевропейской публики „Подпольная Россия“ явилась своего рода откровением», — писал один из основателей группы «Освобождение труда» Лев Дейч.

И. С. Тургенев хвалил «Подпольную Россию».

На Льва Толстого эта книга произвела сильнейшее впечатление. Под ее влиянием он написал рассказ «Божеское и человеческое».

Под впечатлением от «Подпольной России» десятки и сотни русских молодых людей пошли в революцию...

Большевики в эпоху борьбы с самодержавием использовали «Подпольную Россию» для занятий в революционных кружках.

В. И. Ленин рекомендовал «Подпольную Россию» для пропаганды истории русского революционного движения.

«Подпольная Россия» и сейчас оказывается ценнейшим первоисточником для изучения революционного народничества.

«Подпольная Россия» и сейчас читается с огромным интересом и производит сильнейшее впечатление.

Так что же это за книга?

«Подпольная Россия» — художественное произведение и вместе с тем ценнейший исторический труд. Эта книга раскрывает жизнь, деятельность, характеры тех, кого В. И. Ленин назвал «блестящей плеядой революционеров 70-х годов»\*.

«Подпольная Россия» написана русским революционером, для которого создание книги — это тоже акт борьбы, ибо литература для него, как он говорил, — «то же поле битвы» и своею книгой он стремился «служить революции».

«Подпольная Россия» — гордость русской литературы.

А между тем сейчас у нас очень мало кто знает «Подпольную Россию».

Случилось так, что ни о «Подпольной России», ни об ее авторе — замечательном русском писателе, видном революционере С. М. Кравчинском (1851—1895), писавшем под псевдонимом «Степняк», — нет ни одного исследования, нет ни одной книги (хотя очень много писали о нем современники в своих воспоминаниях).

До Великой Октябрьской революции он был государственным преступником. Легально его книги издавались в России только после 1905 года и то в сокращенном и изуродованном виде, а о нем — писать было нельзя.

После 1917 года — его произведения издавались, хотя и редко, но о нем, о его творчестве не писали. Исследователи обошли его своим вниманием.

Судьба его литературного наследия сложилась трагически: большинство своих произведе-

---

\* В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 6, стр. 25.

ний этот русский писатель вынужден был писать на иностранных языках. Многие его книги до сих пор не переведены на русский язык...\*

А между тем это был выдающийся писатель. Его книги полны правды жизни и поэзии революции. Их и сейчас нельзя читать без волнения.

Я хочу рассказать о том, как была создана «Подпольная Россия», как она появилась на свет, как ее встретили в Европе и в России — революционеры и жандармы, писатели и ученые, соратники и последователи, какие бурные споры она вызвала, какую роль она сыграла в развитии общественной мысли и в судьбах отдельных людей.

Пусть имя Степняка-Кравчинского станет родным для каждого русского человека. Я хочу, чтоб вы полюбили его книги, чтоб вы полюбили его друзей, прикоснулись сердцем и мыслями к этим благородным людям, ощутили трагедию одиночек, опередивших свое время — тяжкое мрачное время самодержавия, ощутили трепет восторга перед своей родиной, которая дала миру таких доблестных, таких мужественных, таких талантливых сыновей.

Старые письма, записные книжки, воспоминания современников, полицейские документы, донесения жандармов, забытые газеты — помогут нам.

Я выберу из них то, что, как мне кажется, может объяснить историю создания «Подполь-

---

\* Только в 1964 году появился русский перевод его книги «Россия под властью царей», выпущенный издательством «Мысль».



ной России», может объяснить секрет удивительной силы ее воздействия.

Но теперь, дорогой читатель, прошу вас, прежде чем продолжать чтение этих страниц, отложить их, взять в библиотеке «Подпольную Россию» и прочитать ее. А потом, если вам захочется, вы вернетесь к моему рассказу, который будет гораздо интереснее именно тем, кто знаком с «Подпольной Россией».

# ЭНТУЗИАСТ

*Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются, кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характеров, которые делают их цельными людьми.*

Фридрих Энгельс  
о деятелях эпохи  
Возрождения

Начало 1881 года Сергей Кравчинский встретил в Швейцарии. Прошло уже более двух лет, как друзья хитростью, почти силой выпроводили его из Петербурга за границу.

С тоской и отчаянием вспоминал он 1878 год — столь насыщенный событиями, чувствами, деятельностью, самый — ему казалось — лучший год его жизни.

Как удачно, как счастливо все складывалось в том году. В январе его выпустили по амнистии из итальянской тюрьмы, где он просидел девять месяцев в ожидании суда, который мог приговорить его к смертной казни за руководство вооруженным восстанием крестьян в итальянской провинции Беневенто. Заточение не

истомило его — он был здоров, бодр, полон энергии. Пешком (денег у него не было ни сантима) он пришел из Италии в Женеву и встретил там товарищей, которых мог больше уже никогда не увидеть. Вместе с ними стал издавать эмигрантский журнал «Община».

Тут из Петербурга пришла весть о покушении Веры Засулич на генерала Трепова. Восторг охватил его, ему казалось, что Россия пробуждается ото сна, рвет цепи рабства. Если уж девушки карают царских слуг за произвол и насилие!..

Он написал восторженный панегирик этой неведомой ему девушке. Он писал статьи об освободительном движении итальянского народа. Редактировал статьи друзей. Журнал выходил каждый месяц.

Но Кравчинский мечтал поехать в Россию. Там — настоящая борьба. И вот в мае — он в Петербурге. Его пьянит родной воздух, встреча с друзьями. Все именно так, как он ожидал: все оживлены, деятельны. Это — уже закаленные бойцы. Грезы их молодости исчезли, они не тешат себя несбыточными иллюзиями и готовятся к долгой, упорной, жестокой борьбе с самодержавием.

Кравчинского встретили с радостью. Одно его присутствие сулило удачу. Одно его присутствие создавало особую атмосферу нравственной чистоты, искренности, доверия. При нем невозможно было сфальшивить, при нем люди становились лучше, чище, сильнее.

Но скольких нет вокруг... Закончился процесс 193 революционеров-народников, которых судили за пропаганду идей социализма, и десят-

ки его самых близких, самых дорогих друзей заточены в казематы, сосланы в Сибирь.

Буквально через два-три дня после приезда в Петербург Кравчинский пишет прокламацию «По поводу нового приговора», обличая в ней «бесчеловечность, зверство, попрание всех человеческих прав, лицемерие и низость» царского правительства. Он обращался к непосредственным виновникам:

«О, царь Александр, наследник шести императоров и бесчисленных царей!.. Вы, подлые душители!.. Довольно проповедовали мы любовь — пришла пора воззвать к ненависти. Довольно всепрощения! Месть, месть кровавая, беспощадная будет отныне ответом на ваши злодеяния.

Вы сами довели нас до этого.

Знайте же это и ждите!»

Все силы, все помыслы, всю энергию — на борьбу с самодержавием, на борьбу за счастье народа!

Прокламация была тотчас же отпечатана и выпущена. Кравчинский устраивает большую нелегальную типографию, вербует новых членов в партию «Земля и Воля», названную так по его инициативе в знак продолжения борьбы шестидесятников.

На прожитье он зарабатывает статьями и переводами в журналы.

С ликованием он встречает друзей, бежавших из тюрем и ссылки.

Столько удачных побегов в это лето! Как дерзко, как смело, обманув жандармов, бежала его давняя приятельница, соратница еще по кружку чайковцев (так называли кружок про-

пагандистов-народников по имени одного из его организаторов — Н. В. Чайковского) — Соня Перовская. Как ловко освободил друзей из киевской тюрьмы Михаил Фроленко, нанявшись туда надзирателем, — и вот они тут — Яков Стефанович, Лев Дейч, Иван Бохановский.

И самая прекрасная девушка на свете — курсистка-медичка Фанни Личкус любит его, согласна стать его женой.

Но он не может забыть товарищей, замурованных заживо, он слышит их предсмертные стенания. В их гибели виновен шеф жандармов, начальник Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии генерал-адъютант Мезенцев. Это он препятствовал смягчению участи приговоренных по процессу 193-х. Это он приказал казнить Ивана Ковальского в Одессе.

Так пусть узнают царские слуги, что нет больше покорной России, смиренно взирающей на гибель лучших сынов своих. Он, который не тронет дворнягу, сам убьет шефа жандармов. Смерть за смерть!

Газетные крикуны обвиняют революционеров в трусости, — мол, стреляют издали, чтоб самим спастись. Нет, он встретит врага лицом к лицу — он убьет его кинжалом. Итальянские партизаны научили его владеть этим оружием храбрых. Он привез с собой такой кинжал.

И ясным августовским утром, простившись с невестой, он идет на верную гибель. Он идет на Михайловскую площадь, где каждое утро прогуливается шеф жандармов.

И снова — удача. Неслыханная удача! Палач — убит, а он спасся. Его увез рысак Варвар,

тот самый, который увез бежавшего Петра Кропоткина.

Весь Петербург — в смятении, столица будто на военном положении. Вся полиция по личному приказу царя ищет смельчака.

А он — здесь, ходит по мостовым столицы, пишет брошюру, объясняя, почему был убит шеф жандармов.

И любовь, единственная, на всю жизнь — Фанни стала его женой.

Еще и еще удачи: бежала из ссылки одна из героинь процесса 50 революционеров-народников Ольга Любатович. Как много у них общего, как они подружились. Фанни даже стала ревновать его к Ольге.

Сколько вокруг прекрасных людей — красивых, смелых, мужественных. Они все живут под чужими именами, по фальшивым паспортам, они голодают, они разлучены с родными, каждую минуту их ждет арест и смерть, но они сильны своей идеей, своей борьбой за землю и волю, за благо народа. Их семья — друзья. Их символ веры — социализм. Они не признают ни бога, ни царя.

Престол, армия, чиновники, полиция, — кажется, вся Россия против них. Их преследуют, ловят, казнят.

Но нет, они — тоже Россия!..

Их типография. Здесь, в Петербурге, печатается вольное русское слово, несущее народу правду, зовущее на борьбу.

Вышла брошюра Кравчинского «Смерть за смерть». Издано письмо заключенных Новобелгородской каторжной тюрьмы — «Заживо погребенные», с послесловием Кравчинского. Крав-



чинский с товарищами готовит к печати первый номер их газеты — «Земля и Воля!», пишет передовицу.

Адвокат Александр Ольхин написал стихи, посвященные Кравчинскому:

Как удар громовой, всенародная казнь  
Над безумным злодеем свершилась,—  
То одна из ступеней от трона царя  
С грозным треском долой отвалилась...

Эти стихи тоже напечатали в первом номере «Земли и Воли!». Они скоро стали песней. Их пели как гимн, как песнь гнева:

Именинный пирог из начинки людской  
Брат подносит державному брату.  
А на родине ветер холодный шумит  
И разносит солдатскую хату...

(Эта песня была потом одной из любимых песен Александра Ульянова.)

Царь и его подручные неистовствуют: смельчак не пойман, каждый день появляются новые крамольные издания. Преследования становятся все яростнее. Обшаривают каждый дом. Просматривают всю корреспонденцию столицы. Тщетно. Арестованный было один из главных крамольников, друг Кравчинского — Александр Михайлов, прозванный «Дворник», — одурачил своих преследователей, ушел из-под ареста.

Хватают направо и налево. Сначала все мимо...

Но вот арестован один из друзей Кравчинского, помогавших ему при покушении на Мезенцева, — Адриан Михайлов (однофамилец «Дворника»). Арестована художница Малинов-

ская, у которой Кравчинский был накануне. И там же арестована подруга Веры Засулич — Коленкина. Все меньше квартир, где можно переночевать нелегальному...

Нельзя, нельзя, чтоб враги восторжествовали, поймав смельчака. Друзья умоляют Кравчинского скрыться. Но он верит в свою звезду. Тогда друзья поручают Кравчинскому испытать новые составы взрывчатых веществ. Это — опасно. Это можно сделать только в горах Швейцарии.

Так он уехал из Петербурга в ноябре 1878 года. На несколько дней. Оказалось — навсегда...

Прошло уже два с лишним года...

Тогда в Швейцарии его окружало много друзей. Вера Засулич. Анна Эпштейн — его старая приятельница, жена его лучшего друга Дмитрия Клеменца. Ольга Любатович. Вскоре приехала из Питера и Фанни Личкус, она также переходила границу нелегально.

Постоянная тревога за близких там, в России. Тяжкая нужда. Только поддержка друзей да надежда со дня на день вернуться в Россию позволяют переносить жизнь среди туристов и мещански размеренного благополучия швейцарцев.

Каждый день Кравчинский рвется в Россию, собирается в Петербург, и с каждым днем это желание становится все сильнее.

В конце 1878 года он был еще сравнительно спокоен — «Что тебе сказать про свое житье? Скучно после Питера попасть под колокол воздушного насоса. Ну, да я уверен, что недолго придется сидеть — вот увидишь», — писал он из

Женева в Берн Анне Эпштейн (Центральный государственный архив Октябрьской революции — ЦГАОР, фонд 109, опись 1, единица хранения 863 а, лист 34).

А письмо жене, написанное через несколько месяцев, свидетельствует уже о большей напряженности:

«Знаешь, я убежден, что нам будет теперь так же хорошо, как в России. В России совсем особое чувство наслаждения собственным существованием, свободой, всем, потому что чувствуешь, что все это может исчезнуть каждое мгновение, и нужно ловить счастье на лету. Теперь, раз поездка в Россию дело решенное и близкое, — это ощущение возобновляется...» (ЦГАЛИ, фонд 1158, оп. 1, ед. хр. 757, лист 3\*).

А между тем поездка в Россию была для него действительно крайне рискованной и опасной. Приметы его были разосланы повсюду, а внешность его была столь незаурядной, что замаскироваться ему было почти невозможно. Конечно, он мог сбрить маленькую курчавую бородку и буйную шевелюру, мог так изменить одежду, чтобы в ней не осталось ничего «ниги-

---

\* В Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ЦГАЛИ) хранится фонд рукописей С. М. Кравчинского (фонд № 1158), приобретенный еще в 1935 году при содействии А. А. и И. М. Майских Институтом Маркса — Энгельса — Ленина у вдовы Кравчинского в Лондоне. В этом фонде хранятся рукописи С. М. Кравчинского, письма его многочисленных друзей, деловая переписка, связанная с его общественной деятельностью в Англии и Америке. Хранятся там и многие письма самого Кравчинского, которые после его гибели в 1895 году его вдова собирала у друзей и знакомых.



Сергей Михайлович Кравчинский. 1878 год

листического», — недаром же летом 1878 года он, живя по паспорту грузинского князя, вполне удачно разыгрывал его роль. Но как спрятать этот слишком высокий огромный лоб благородных очертаний, как притушить эти карие глаза, слишком глубоко сидящие под крутыми бровями, что делать с этими слишком толстыми яркими губами, куда девать эти могучие широкие плечи? Как изменить весь этот характерный неповторимый облик? Как уничтожить осанку, полную сознания собственного достоинства, достоинства человека, а не раба?

Арест же означал для него неминуемую смерть. Друзья это понимали и всячески оттягивали его возвращение на родину. А без их содействия это было невозможно. Нужны надежные документы, адреса явочных квартир, деньги, наконец...

Тем временем царское правительство пустило шпионов по следу Кравчинского.

Перехватывали его письма. Письмо его к Анне Эпштейн я привожу по шпионской копии, сохранившейся в делах Третьего отделения. Агент царской полиции, зарегистрированный под кличкой «Жозеф» — настоящего его имени мы так и не знаем, вероятно, он был француз или швейцарец, — подкупив квартирную хозяйку Анны Эпштейн в Берне, получал на несколько часов всю корреспонденцию, приходящую на ее имя. Он снимал копии этих писем для тех, кто платил ему. Но что это были за копии! Дело в том, что он не знал ни одного слова по-русски, фотография тогда еще не служила шпионам, и он с рисовывал эти письма. Иногда два-три слова у него сливались в одно, иногда из одного

слова он делал два, а многие его каракули прочитать совсем невозможно. Но иногда он срисовывал довольно точно...

Тут же, в делах Третьего отделения, хранятся копии этих «срисованных» писем, сделанные писарями для облегчения «труда» сановников. Но эти писари тоже многого не понимали в каракулях Жозефа и добавляли свои ошибки. Поэтому исследователю, чтобы добраться до подлинного смысла письма, приходится ломать и голову и глаза. И все равно иногда невозможно понять, что же было написано в письме...

Кроме «Жозефа» были и другие шпионы. Следили за Кравчинским и за его друзьями. Ходили за ними по пятам. Подкупали их квартирных хозяев, владельцев ресторанчиков, где питались русские эмигранты. Один из друзей Кравчинского, почувствовав за собой неотступную слежку, долго не мог понять, в чем дело. Оказалось, Кравчинский отдал ему свое пальто и шпионы следили за «знакомым» пальто...

Царское правительство вело переговоры с швейцарским правительством о выдаче Кравчинского как уголовного преступника. И это было весьма возможно: ведь совсем не так давно выдала же Швейцария Сергея Нечаева.

А надо было чем-то жить. Денег не было. Кравчинский в поисках заработка стал переводить. В конце 1878 года он пишет Анне Эпштейн (мы опять узнаем об этом из «срисованной» копии Жозефа): «Убегался, учился и упереводился, милая (не взъщи за слова). Перевожу один глупейший роман с испанского».

Кравчинский не называет романа, но по воспоминаниям Ольги Любатович об этом време-



ни мы знаем, что Кравчинский переводил роман испанского писателя Э. Каstellяра\*.

Но переводы устроить было нелегко. Русские эмигранты, и Кравчинский в том числе, очень нуждались. Правда, они не голодали: вдова парижского коммунара мадам Грессо содержала в Женеве маленький ресторан. Русские эмигранты находили там неограниченный кредит.

В мае 1879 года у Кравчинских родился ребенок. Едва только из старых вещей сшили маленькому все необходимое (Вера Засулич предложила сделать одеяло из ее ситцевого халата...) — мальчик умер.

Нужда, бедствия, преследования шпионов, тоска. Если бы уехать в Россию...

Вести с родины приходят скупо. Но постоянно кто-то уезжает в Россию, кто-то возвращается оттуда. А Кравчинский все остается в Швейцарии, прячась от шпионов то в одном городке, то в другом. Ему ехать в Россию нельзя.

Перевод испанского романа так и не был напечатан. Наконец, Кравчинскому удалось договориться с редактором журнала «Дело» Г. Е. Благосветловым о переводе романа гарибальдийца Рафаэлле Джованьоли «Спартак». Это роман о борьбе, о восстании рабов. Кравчинскому вовсе не все равно было, что переводить. Он хотел служить родине и пером.

Для этого же журнала Кравчинский переводил с итальянского (он в тюрьме хорошо изучил его и даже разные диалекты) и другие про-

---

\* *Ольга Любатович*. Далекое и недавнее. М., Изд. политкаторжан, 1930, стр. 49—50.

изведения, собирался написать большую статью о положении в Ирландии, так долго и упорно борющейся за независимость.

В России назревали события. Революционеры искали новых путей борьбы. Мирная пропаганда была невозможна, да и не давала никаких результатов. Невозможны были и вооруженные восстания. Партия «Земля и Воля» раскололась на две партии: «Народная Воля» и «Черный передел». Исполнительный комитет «Народной Воли» вынес смертный приговор русскому самодержцу, и все его силы были направлены на исполнение этого приговора. «Черный передел» стоял за продолжение пропаганды.

В среде эмигрантов велись ожесточенные дискуссии о направлении революционного движения в России.

В Париже жил П. Л. Лавров. П. А. Кропоткин в Швейцарии и во Франции занимался местным рабочим движением. В Швейцарии собрались почти все участники «Черного передела». В Женеве жили Вера Засулич, Георгий Плеханов, Яков Стефанович, Лев Дейч. Тут же были еще старые эмигранты — М. П. Драгоманов, Н. И. Жуковский, и народовольцы — Николай Морозов, Ольга Любатович (они недавно поженились, у них родилась девочка...) В Цюрихе жил чернопеределец Павел Аксельрод.

К началу 1881 года стало очевидно, что инициативу революционной борьбы в России держит «Народная Воля». Создав сильную, строго законспирированную организацию, она регулярно выпускала свою газету и день за днем удесятеряла свои усилия, направленные на выполнение смертного приговора Александру II.

Кравчинский считал себя народовольцем, хотя формально к партии не принадлежал, так как не был в России, хотя во многом расходился с ними во взглядах.

Теперь, как и раньше, он не вникал в теории, ему чужды были стремления к точности формулировок, бесконечные споры о тех или иных параграфах, пунктах и т. п. Он жаждал действия.

В январе 1881 года уехал в Россию ближайший друг Кравчинского — член Исполнительного комитета «Народной Воли» Николай Морозов. Как тяжкий удар поразило его друзей известие об аресте Морозова на границе. Кравчинский немедленно решил ехать в Россию, чтобы устроить ему побег. Но все понимали, что это приведет лишь к неминуемому аресту самого Сергея. А арест его — обозначал смерть. В Россию поехала Ольга Любатович, тоже член Исполнительного комитета. Своему самому близкому другу Сергею Кравчинскому оставила она своего ребенка — грудную еще девочку.

Поехала в Россию для спасения Морозова и Анна Эпштейн, великий мастер проводить жандармов и переводить кого нужно через границу.

Всем сердцем, всеми помыслами Кравчинский был там, на родине, а вместо этого ему приходилось заниматься переводами, скрываться от шпионов...

Он заканчивал перевод «Спартака», по субботам сходил с товарищами по изгнанию в кафе мадам Грессо...

В это время из России пришло известие о событии 1 марта — в Западной Европе было уже 13 марта — убийстве Александра II.

Приговор деспоту приведен в исполнение.

Но как дорого заплатили революционеры за свою призрачную победу — аресты, аресты, аресты. Гибель лучших из лучших.

Уцелевшие товарищи поняли, что теперь без Кравчинского им не обойтись, и каков бы ни был риск — его вызвали в Россию.

Ликующий Кравчинский писал жене:

«Фаничка, милая! Еду! Письмо от питерцев писала от их имени Таня. Впрочем, читай сама.

Я еду, еду, туда, где бой, где жертвы, может быть, смерть!

Боже, если б ты знала, как я рад — нет, не рад, а счастлив, счастлив, как не думал, что доведется мне еще быть! Довольно прозябания!

Жизнь, полная трудов, быть может, подвигов и жертв — снова открывается предо мной как лучезарная заря на сером ночном небе, когда я уже снова начинал слабеть в вере и думал, что еще может быть долгие месяцы мне придется томиться и изнывать в этом убийственном бездействии между переводами и субботними собраниями!

Жив бог (одно слово неразборчиво.— *Е. Т.*) души моя!

Чувствую такую свежесть, бодрость, точно вернулись мои двадцать лет. Загорается жажда давно уснувшая — подвигов, жертв, мучений даже — да!

Все, все за один глоток свежего воздуха, за один луч того дивного света, которым окружены их головы. Да, наступил и для меня светлый праздник.

А помнишь, как раз я говорил тебе, что в моей жизни было два лучезарных периода, но что

так как их должно быть три, то один еще будет. Я это предчувствовал, хотя, иногда, по малодушью, слабел в вере. Теперь это исполнилось!

Признаюсь, однако, что моя радость не без облачков. Мне грустно, что я так мало могу оправдать надежды, которые возлагают на меня мои друзья. Проклятая работа из-за куска хлеба не дала мне никакой возможности запастись новыми знаниями. В этом отношении я уеду таким же, каким уехал. Но зато эта же каторжная работа дала мне много выдержки и упорства в труде, которых тоже у меня не было.

Но все-таки грустно! Как бы я хотел обладать теперь всеми сокровищами ума и знания и таланта, чтобы все это отдать беззаветно, без всякой награды для себя лично — им, моим великим друзьям, знакомым и незнакомым, которые составляют с нашим великим делом одно нераздельное и единосущное целое!

Что ж! Отдам, что есть» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 5—7).

Он писал это письмо огромными прыгающими буквами, строчки поднимались вверх и зигзагами опускались вниз, да вообще строк как будто и не было — отдельные слова, как победные клики...

Он весь отразился в этом письме. Тот, кто прочитал «Подпольную Россию», увидит, что одна и та же рука писала книгу для тысяч читателей и письмо любимой женщине-товарищу. Таков был строй его слов, его мыслей и чувств...

Вслед за письмом Тани — его старинной приятельницы Татьяны Лебедевой, члена Исполнительного комитета «Народной Воли», — пришло письмо и от Льва Тихомирова, возглав-

лявшего теперь партию народовольцев. Письмо его было наполнено комплиментами по адресу Сергея.

Эмигранты еще не знали подробностей покушения. Не знали, что творится в России. Издалека все казалось по-другому: величественнее. Казалось — все в России изменится. Известны были и истинные размеры разгрома партии. Конспиративные письма доходили с трудом, а сообщения европейской печати были противоречивы. Газеты и журналы изображали русских заговорщиков, «нигилистов», как их называли, — бандитами и мошенниками.

В ожидании необходимых документов, сведений, денег, которые ему должны были прислать из России, — Кравчинский начал переговоры с известным радикальным французским журналистом Анри Рошфором, редактором парижской газеты «Intransigeant» («Непримиримый»). Рошфор специально приехал тогда в Женеву, чтобы из «первоисточника», как ему казалось, собрать сведения о покушении на царя. Но эмигранты сами ничего не знали, и Рошфор, послав в Париж несколько полуфантастических корреспонденций, вскоре уехал из Женевы.

Кравчинский хотел стать специальным корреспондентом газеты Рошфора и посылать ему из России сведения о русском революционном движении.

В эти дни Кравчинский писал П. Л. Лаврову в Париж (писем он в те годы не датировал, за что его очень упрекал тот же Лавров в одном из своих писем, также... не датированном!) с просьбой содействовать ему в этом деле и рекомендовать его Рошфору.



В этом письме для нас примечательны: и самая мысль использовать сотрудничество во французской печати не только для заработка, а и для того, чтобы «рассказывать европейской публике настоящую правду про «нигилистов», и реакция Рошфора — «согласился с величайшим удовольствием», и совершенно ясная формулировка отношения Кравчинского к «Народной Воле»: «Хотя в редакции Народной Воли я не был, но вы знаете, что это только потому, что не находился в Питере», и скромная уверенность в своих силах: «думаю, что по литературной части могу быть полезным» (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 23—24 \*).

Еще не получив ответа, Кравчинский вновь и вновь бомбардирует Лаврова письмами, сообщая о подробностях конспирации в будущей переписке из России (л. 25 — 26).

Но вот пришло письмо Лаврова от 20 марта, в котором тот обещает сделать все возможное и сообщает о попытках переговоров с Рошфором. Однако со своей стороны Лавров всячески отговаривает Кравчинского от бессмысленно рискованной для него поездки в Россию.

В это время Кравчинский пишет жене в Берн о своих сборах, о том, что сомневается в возможности договориться с Рошфором: «Во всяком случае я не оставил плана корреспондентства, и если не выгорит с Рошфором, то продамся какой-нибудь английской газете уже из России. Тогда цена мне будет повыше. Пору-

---

\* В фонде П. Л. Лаврова — № 1762 — сохранилось много писем С. М. Кравчинского, и не только к П. Л. Лаврову, но и к Н. А. Морозову, О. С. Любатович и другим.

чу это Вере через Маркса» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 10—11).

Недавно русские эмигранты после ожесточенных дискуссий о путях развития капитализма в России поручили Вере Засулич обратиться к Марксу с просьбой высказать свои мысли о развитии общины в России, и несколько дней тому назад Вера получила ответ. Маркс писал так дружелюбно, что Кравчинский мог надеяться на его содействие.

Переговоры с Рошфором кончились ничем, «он надул чисто по-рошфоровски», — написал Кравчинский Лаврову (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 28).

Присылка документов из России также задерживалась.

«Ужасно мне не везет с этой поездкой, — писал Кравчинский жене, — опять, значит, две недели. Работаю во все лопатки: дня через два три кончу совсем Спартака, потом потрогаю Ирландию — это тоже дня три, потом выберу что-нибудь новенькое для перевода и, взяв оный с собой, приеду к вам» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 18—19).

Неделя тянулась за неделей. Из России приходили только страшные вести.

Никакого переворота не совершилось. На место убитого взшел новый царь.

А рано утром 3 апреля на Семеновском плацу в Петербурге веревка палача оборвала жизнь его друзей.

Неужели их подвиг был напрасен? Неужели их имена исчезнут бесследно?

...Отъезд Кравчинского в Россию опять был отложен.

Его терзания были так мучительны, что и много лет спустя его товарищи помнили об этом.

Кравчинский был крайне измучен «этими призывами и держанием наготове» \* — писал Лев Дейч на каторге.

А Вера Засулич вспоминала: «...его позвали, обещая прислать все необходимое для возвращения. Он ответил радостным согласием; но пока он ждал обещанного, в России последовала новая катастрофа, разбившая остатки старой организации и всякую надежду для Сергея скоро увидеть родину» \*\*.

13 июля 1881 года ему исполнилось тридцать лет. Он ощущал в себе огромные силы. Расцвет их. И — жалкое прозябание.

Отрезанный от России, Кравчинский страдал еще сильнее оттого, что Ольга Любатович писала ему отчаянные письма: устройство побега Морозова сорвалось окончательно — его перевели в Петропавловскую крепость, откуда бежать немислимо. Она не могла примириться с безнадежностью своей утраты и металась по Петербургу. Сергей своей рукой должен был ей нанести еще один — жесточайший — удар: во время эпидемии девочка ее умерла...

Анна Эпштейн вернулась из России, рассказала о петербургских новостях. Она видала и Соню Перовскую и Гесю Гельфман буквально накануне их ареста. Соня Перовская поручила

---

\* Л. Дейч. Из Карийских тетрадей. — В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 4. М. — Л., Госиздат, 1926, стр. 121.

\*\* В. Засулич. С. М. Кравчинский (Степняк). — «Работник», 1896, № 1—2. — Цит. по кн.: В. И. Засулич. Статьи о русской литературе. М., 1960, стр. 132.

ей передать Сергею, что Адриан Михайлов, измученный тюремщиками, стал давать откровенные показания. Теперь жандармы уже точно знают, что Кравчинский — убийца Мезенцева.

В конце лета в Петербург уехал друг Кравчинского — чернопеределец Яков Стефанович — «Дмитро», как они его называли. Ему было поручено подготовить соединение чернопередельцев с народовольцами. Он писал из России бодрые письма. Кравчинский много думал о нем, мысленно сопровождал его по знакомым улицам Петербурга.

А здесь шпионы снова начали одолевать Сергея, ходили за ним по пятам. Он и здесь жил под чужими именами — Бельдинский, Шарль Обер, Штейн, — но его знали все.

В это время Кравчинский писал своему другу, народовольцу Владимиру Йохельсону (из Женевы в какой-то город Швейцарии, не поставив даты...):

«Вы, конечно, слышали уже о вновь поднявшейся охоте. Мне бы хотелось уехать из Женевы, где меня слишком много знают, а для этого необходимо достать минимум 150 франков, чтоб расплатиться с кое-какими долгишками и иметь небольшую сумму на новом месте, где в кредит жить не всегда возможно». Просит достать денег в долг, который отдаст, получив гонорар за статью об Ирландии (Институт русской литературы Академии наук СССР. Отдел рукописей, ф. 377, ед. хр. 10 341, л. 1—2).

Здесь, сделав некоторое отступление, мне хочется рассказать об этой статье. Только благодаря этому письму мы можем точно установить, что именно Кравчинский является автором ста-

тьи «Ирландские дела», опубликованной в августовской и сентябрьской книжках журнала «Дело» за 1881 год. Это косвенно подтверждается и другими архивными документами. Статья подписана одной буквой «Б», что обозначает — «Бельдинский», один из псевдонимов Кравчинского в то время. Под именем Бельдинского, расшифрованным как псевдоним Кравчинского, эта статья значилась и в гонорарных ведомостях редакции журнала «Дело». Извлечения из этих ведомостей, касающиеся участия русских политических эмигрантов в журнале «Дело», приложены как обвинительный материал к делу Петербургского губернского жандармского управления канцелярии по производству дознаний по политическим делам — «Дознание о писателе Станюковиче К. М., обвинявшемся в связях с русскими эмигрантами Кравчинским Сергеем, Павловским Исааком и издателем „Вестника Народной Воли“ Тихомировым Львом». Начатое 14 мая 1884 года, оно было окончено 29 декабря того же года (ЦГАОР, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 7, л. 54, 251 и др.). К. М. Станюкович был выслан в Сибирь, а журнал закрыт.

Вероятно, статья «Ирландские дела» сильно пострадала от сокращений, так как в письме к В. Засулич (март 1882 года) Кравчинский писал: «помните, как Ирландию обкарнали»\*.

Важно отметить, что русские революционеры-народники пристально следили за борьбой

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 1. М., Госиздат, 1924, стр. 223. Разрядка моя. В дальнейшем — подчеркнутое мною в цитатах выделяется разрядкой, а подчеркнутое авторами цитируемых материалов обозначается *курсивом*. — Е. Т.

ирландского народа за свою независимость, искренне сочувствуя ему. Именно этой борьбе посвящена содержательная статья Кравчинского. Можно предположить, что как раз наиболее «возмутительные» ее строки и были вычеркнуты при опубликовании.

Однако внимательный читатель мог извлечь для себя из этой статьи немало полезного.

Например, говоря о том, что «борьба составляет неизбежное условие жизни и развития, и потому она ведется и будет вестись во всяком обществе», Кравчинский внушает читателю мысль, что разные условия порождают различные формы борьбы. Идеализируя, конечно, положение в Англии и Ирландии, он говорит, что в этих странах «нет надобности прибегать к насилию, именно потому, что свободное проявление личности не подавляется насилием», а касаясь усмирительного закона, принятого в Англии против Ирландии, весьма жестокого, но не идущего ни в какое сравнение с русским беззаконием, многозначительно утверждает: «...найдется немало стран, которые были бы очень рады, если бы у них, а не в Ирландии вошел в силу этот усмирительный закон». Ибо и при этом законе в Ирландии существовала и свобода печати и свобода собраний...

Выражая симпатии ирландскому движению, Кравчинский тем не менее говорит о его ограниченности. Борьба за земельный билль, который передал бы землю лендлордов во владение фермеров, утверждает Кравчинский, в основе своей отражает интересы лишь привилегированного сословия. Этот земельный билль насколько не изменил бы ужасающего бедственно-

го положения сельскохозяйственных рабочих, батраков.

Для каждого внимательного читателя ясна была тревога и боль за судьбу России и русских тружеников, сквозившая во всех картинах ирландского голода и ирландской борьбы за национальную независимость.

Только борец и только русский борец мог написать так.

Только, так сказать, профессиональный пропагандист, стремящийся использовать любую возможность для пропаганды своих идей, мог написать такую статью.

(А до сих пор неизвестно было, что Кравчинский написал такую статью, никогда она не перепечатывалась, никогда никто и не упоминал ее.)

Вернемся к нашему рассказу.

Очевидно, Йохельсон не сумел достать денег.

9 сентября 1881 года давний эмигрант, известный публицист Варфоломей Зайцев, живший тогда в Швейцарии, пишет жене из Кларана, что получил ожидаемые деньги от Антоновича и хотел уж было послать их ей, «но пришлось отдать 150 Сергею, которого ищет полиция, так что ему необходимо драть в Англию», и через пять дней — 14 сентября — снова пишет ей: «В субботу в Женеве видел Сергея: мы с сестрой уговаривали его убраться скорее да незаметно, и потом мой компаньон получил известие, что только сегодня хочет ехать. Не знаю еще, уехал ли и благополучно ли» \*.

---

\* М. З. В. А. Зайцев за границей.— «Минувшие годы», 1908. Кн. XI, стр. 100, 101.

И на этот раз Кравчинскому удалось благополучно скрыться, уйдя буквально из рук шпионов. Только он двинулся не в Англию, как сообщал всем знакомым, а в... Италию. Там он собирался провести некоторое время, пока остынут его следы в Швейцарии и полиция успокоится. Местонахождение его должно быть строжайшим секретом для всех, кроме самых-самых близких. А тем временем наверняка придут документы из Петербурга, и он сможет поехать в Россию.

В Италии Кравчинский собирался написать статьи об итальянской литературе для журнала «Дело», о чем договорился с новым редактором журнала — после смерти Благосветлова — К. М. Станюковичем.

Так он должен был уйти в двойное изгнание — эмигрант в эмиграции...

Жена сохранила несколько писем Кравчинского с описанием его путешествия в Италию — путешествия в буквальном смысле, так как он проделал весь путь пешком. Она жила в страшной тревоге: даже здесь, в этих «свободных» странах его могли схватить каждую минуту и выдать России — а там неминуемая смерть... Но Кравчинский верил в свою удачу.

Чтобы оправдать дорожные расходы и поскорее вернуть долг, он решил по дороге заняться торговлей. Вот уж к чему он был решительно неспособен! Он заготовил в Женеве несколько... гектографов. В своих письмах он шутливо рассказывает, как убеждал жителей крохотных захолустных швейцарских городков приобретать гектографы. Конечно, их никто не покупал. Но Кравчинский не терял бодрости и надежд.



Он писал жене из пограничного городка Домодоссоло — «самого захолустнейшего из всех итальянских городов и минимального по величине», куда он попал, перевалив через Симплон:

«Милая Фаничка! Наконец я в Италии... Горы я не перешел, а скорей перебежал — почти нигде не останавливаясь, я в 12 часов дошел до итальянской границы, до которой дилижанс только на полчаса меньше употребляет. Выгадал таким образом около 22 франков, потому что за багаж один взяли до границы 3 франка... горы пусты, деревни с заколоченными окнами, открыты только Refuges [убежища.— *Е. Т.*] для застигаемых бурей путешественников... Дорога же восхитительная. Мало мне таких приятных и дешевых удовольствий доставалось.

Сначала от Брига вообще горная дорога, утесы, обрывы, долины, равнины... Потом галлерей, высеченные в скалах, потому что сверху вечно валяются лавины. Снег пошел, начиналась буря... А потом кругом огромная, почти гладкая поляна, а на ней холмики, холмики — это высочайшие вершины.

А спуск — просто восторг. Раза три чуть шею не свернул, прыгая по скорчиатоям (укорачивая тропинки) и совсем было задавил одну овцу».

Дальше он рассказывал, что гектографы продать ему не удастся и он надеется распродать их в Милане. (Конец письма не сохранился. ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 26—27.)

Новая тревога для Фанни: ведь даже местные жители редко отваживались переваливать через Симплон в одиночку да еще в такое время

года. Но из конспирации Кравчинский не искал попутчиков...

Прибыв в Милан (вероятно, это было в середине сентября), Кравчинский снял самую дешевую, какую смог найти, комнатку на улице Санта Мария Сегрета в доме № 6, назвавшись синьором Никола Феттер. (Под этим именем жил Николай Морозов в Швейцарии.)

Его ужасала дороговизна миланской жизни по сравнению с Женевой. А тут еще в Милане открылась большая промышленная выставка, и цены на комнаты невероятно подскочили.

Кравчинскому некогда любоваться красотами чудесного города. Он доволен, что в большом городе (свыше 300 000 жителей!) легче затеряться. Он успокаивает жену, что никому не скажет своего настоящего имени. Да его тут никто не знает. Ни души знакомых. Никого.

Один только итальянский поэт Фернандо Фонтана был ему немного знаком и знал, что он — русский. Но и тому Сергей назвался Григоровичем. А домой никто к нему ходить не будет. «Одним словом, буду принимать меры предосторожности, как в Петербурге по части охранения квартиры», — пишет он жене.

Комнатка плоховькая, но зато — в центре. Рядом — Миланский собор, неподалеку знаменитый театр Ла Скала. Но главное — рядом дворец Брера, где находится картинная галерея, обсерватория и великолепная национальная библиотека, насчитывающая свыше 200 тысяч томов. Вот туда-то прежде всего и направился Кравчинский.

«Я ужасно, ужасно много работаю... — писал он жене. — Я уже акклиматизировался здесь...

Встаю часов в 8 и к 9 уже в библиотеке, где и сижу безвыходно до 4-х, пока не начинают гнать. Потом вечером привожу в порядок свои замечания и пишу статью уже об итальянских поэтах, они, как оказывается, несравненно интереснее романистов и уж абсолютно никому неизвестны. Думаю, недели в две кончу. Пошлю тогда в Дело... Для Вестника Европы или Заграничного Вестника буду затем сооружать статью о Леопарди и Джустини и К<sup>о</sup>. После поэтов возьму драматургов и романистов, или романистов, а потом драматургов. Все это листов 6, как когда-то я и говорил Станюковичу» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 30—30 об.).

А денег нет. Прибыл он в Милан с 50 франками. Надо было дать задаток за комнату. Взнести залог в библиотеку. В день на себя он тратил 30 сантимов на хлеб и 40—45 сантимов на обед. «Я теперь держу себя строго — на Беневентском положении», — пишет он. А ведь в Беневенто он сидел в тюрьме за вооруженное восстание... Послать письмо — немислимый расход: 25 сантимов... Он обещает жене, что будет посылать ей газеты бандеролью — это стоит всего 5 сантимов, — а внутри газеты будет писать ей «химией», используя навыки старого конспиратора. Надо бы пойти в кафе — встретиться с журналистами — может быть, и работа какая перепадет, так вот беда — нет рубахи приличной...

Он не унывает — ведь всего месяца два ему тут придется пробыть, а там придут документы из России, и он уедет.

А пока он всеми способами пытается заработать хоть немного.

Ищет книг, подходящих для перевода. Предложил Станюковичу роман немецкого писателя Роберта Бира — «Депутат либеральной партии». Дрянной роман, но с «тенденцией». Нашел очень хороший рассказ из жизни рудокопов. (Рассказ Джованни Верга «Огневик» в переводе Кравчинского был напечатан в журнале «Дело» за 1881 год в № 12, а роман Р. Бира и другие переводы и очерк о Гарибальди — в 1882 году, под чужими именами или вовсе без имени.)

Пишет Кравчинский и многочисленные корреспонденции во всякие русские газеты и журналы. После захолустной Швейцарии жизнь большого города — одного из крупнейших экономических и культурных центров Италии — давала множество впечатлений. Но далеко не обо всем можно было писать. И далеко не всякая газета желала иметь дело с политическим эмигрантом.

Составление этих корреспонденций очень тяготило Кравчинского, он называет их «самым низшим родом литературы», но — нужда! Он берется за любые темы, не будучи вовсе уверен, что это напечатают.

А в переписке с Россией надо соблюдать такую осторожность! Один из его новых итальянских знакомых — Пистолези — разрешил давать свой адрес для этой переписки. Но и это не спасало его русских доброжелателей: в деле К. М. Станюковича приводятся тексты телеграмм, которые он посылал Кравчинскому в Милан на адрес Пистолези — Milano, Via Vivaia, 16, — извлеченные жандармами из Архива Главного управления почт и телеграфов...

Скучать ему некогда — нет ни минуты свободной. Но он тоскует по жене, по товарищам. Из России приходят страшные вести. Арестована Татьяна Лебедева. Ольга Любатович пишет отчаянные письма. Кравчинский понимает, что она — накануне катастрофы. Только Стефанович пишет бодрые письма, полон энергии, всяческих планов.

Кравчинский в Милане совсем один. Даже письма от друзей, от Фанни он сжигает. Ведь если его арестуют, каждое письмо будет уликой, и они могут пострадать...

Однако Фернандо Фонтана оказался славным малым — он всеми силами стремится помочь своему русскому другу. Они были ровесниками и подружились. Судьба его тоже была трагична. Он рассказывал о себе Сергею.

Его отец, бедный живописец, не мог содержать больную жену и трех детей на ничтожное жалование декоратора в театре Ла Скала и решил попытаться счастья в Южной Америке. Сначала ему повезло, и он посылал домой изрядную сумму. Маленький Фернандо учился в лицее и обучал всему, что узнавал сам, своих двух младших сестреноч, которых горячо любил. Но вскоре отец замолчал — ни денег, ни писем. Все запросы ни к чему не привели. Мать умерла. И Фернандо остался главой семьи. Он служил «мальчиком» в кафе. Уехал в Геную. Там сломал себе ногу. И во время его болезни обе сестры (он знал: они умирали с голоду) исчезли. Фернандо стал уличным торговцем. Тогда-то он и начал писать стихи...

Теперь он сотрудничает в миланских газетах, его стихи издают, и он уже не ночует под

открытым небом — он не нищий, — но тяжкая пужда постоянно подстерегает его.

«Невозможно представить себе музы более своенравной и капризной, — но вместе с тем и более симпатичной», — говорит о нем Кравчинский. Стихи его мрачны, но, как писал о нем Кравчинский, «он вышел победителем из тяжелых испытаний и остался передовым бойцом человеческой мысли». Фонтана стал социалистом. Но Кравчинский не мог не упрекать своего итальянского друга за то, что «он нередко упускает из вида требования образности и художественности».

В своей статье об итальянских поэтах Кравчинский отвел своему другу почти целую главу. Писал он и о стихах уже знаменитых поэтов — Джозуэ Кардуччи, Олиндо Гуеррини, писавшем под псевдонимом Лоренцо Стеккетти, и о других, которые были еще мало известны даже у себя на родине. Написал он и о самом «левом» из итальянских поэтов — Карло Баравалле. С ним познакомил его Фонтана.

Эта статья Кравчинского и сейчас поражает глубиной анализа, тонкостью наблюдений, живостью слога, в ней непринужденно сочетаются мысли о поэзии и личные впечатления о встречах с итальянскими поэтами.

Совсем недавно одна итальянская коммунистка, молодой историк, специально занимающийся той эпохой, — Эльза Гуэрра — рассказала мне, что во всей итальянской литературе она не встречала такого проникновенного понимания поэзии Лоренцо Стеккетти, какое нашла в статье Кравчинского. Она решила перевести эту статью на итальянский язык.

Однако Кравчинский, послав эту статью через Драгоманова Пыпину в «Вестник Европы», все не получал ответа.

Через полгода (вероятно, в мае 1882 года) Драгоманов так писал Кравчинскому из Женевы в Милан: «Теперь о поэзии. Я послал Ст-чу (то есть — М. М. Стасюлевичу, редактору журнала «Вестник Европы»; эмигранты, опасаясь шпионов, избегали в переписке называть имена.— *Е. Т.*) часть Ваших листков, зачеркнув некоторые слова. (Вероятно, Драгоманов имеет в виду еще какую-то другую работу Кравчинского.— *Е. Т.*). Хотел, чтоб на него подействовала теплота их, как на меня подействовала. Впрочем, черт их знает: вот я восхищался Вашим изложением, столько же как и содержанием, в статье о поэтах (серьезно, я ни у кого из русских не видел такого удачного проникновения русского языка итальянскою теплотою), а вот Пыпина, верно, не пробрало. Авось, Ст-ча проберет. Впрочем, несомненно, что от этого уже хоть ответ будет. Я писал ему и о статье» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 285, л. 86 об.).

Несмотря на все хлопоты и просьбы, эта статья Кравчинского появилась в «Вестнике Европы» только в 1883 году, где была напечатана в № 5—6 под названием «Очерки новейшей итальянской литературы», подписанная буквами «С. Г.», т. е. «С. Горский», как он иногда подписывался в журнале «Дело».

Но вернемся к осени 1881 года — когда, придя в Милан, Кравчинский писал эту статью и бедствовал.

# ГИМН И РЕКВИЕМ

*Я написал эту книгу, потому что не имел возможности дать генеральное сражение врагам Италии.*

Эти слова Ф.-Д. Гверрацци из письма к Дж. Мадзини о своей книге «Осада Флоренции», написанной в тюрьме, Кравчинский приводит в статье об итальянских поэтах.

В поисках работы для своего русского друга Фонтана познакомил Кравчинского и с издателем одной миланской газеты.

Через месяц после прихода в Милан Кравчинский сообщил жене и Анне Эпштейн в Женеву:

«Пишу, чтоб сказать вам, что я получил работу в одной газете — *Pungolo*, платящей безусловно; умеренная, но мне гарантирована полная независимость, с обязательством, впрочем, излагать факты, а не пускаться в теории, от чего избави меня бог.

Условия такие: статей 10—16 в 200 строк каждая с платой по 25 франков за штуку. Впрочем, окончательные условия определятся только когда я представлю две пробные корреспонден-



денции — первая историческая и вторая биографическая... Это мне мой поэт устроил... Умеренные газеты, оказывается, во сто крат лучше для нас, чем красные. Те, вроде *Intransigent*, все фокусов и Понсон ди Терайлев требуют... Я сказал, что сделаю 2—3 корреспонденции исторические, а потом, в остальных, — в виде биографий, рассказов о достопримечательных бегствах и т. п. постараюсь дать характеристику движения в лицах и образах...

А знаешь, чью характеристику я сделаю первой? Догадайся — Дмитровскую. О нем столько раз в газетах писали, что его имя можно упоминать. Хотел бы Льва, но нельзя. Потом распишу Анку».

Открытка кончилась. Все было исписано, сверху донизу, микроскопическими буквами, черными чернилами. И Кравчинский сразу сел за работу. Было это 14 октября 1881 года (не думайте, что он стал датировать свои письма. Нет, но так как это открытка, на ней сохранился почтовый штемпель: Милан, 15. 10. 81, а начало было написано накануне).

Очевидно, вечером того же дня он снова взял открытку. Теперь он уже писал красными чернилами поперек написанного черными (я немало ломала глаза, пока разобрала все, что писал Кравчинский, стараясь уложить побольше в открытке, так как на письмо денег не было)

«Статья при переписке оказалась больше, чем думал...» И снова продолжал работу, загоревшись, сразу, с размаху.

Дальше на этой открытке Фанни и Анна Эпштейн (Анка, как ее ласково называли друзья) прочитали:

«На другой день. Вчера не отправил. Сегодня хочу приписать, что первую пробную корреспонденцию кончил почти. Завтра кончу вторую. Мне немножко совестно живого человека расписывать. Но я думаю, что это предрассудок. Ведь описывают же Додэ и Гамбетту. Сделаю, конечно, так, что ни самое описание, ни даже то, что я с него начинаю, не будет в состоянии иметь для кого-нибудь какого бы то ни было значения, если бы даже ее третье отделение прочло.

Я мог бы, конечно, выбрать других людей и даже другую тему — потому что это было мне предоставлено, но стою за свой план с чисто артистической точки зрения. Пишу с величайшим удовольствием, как еще никогда ничего не писал» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 2).

Так начала создаваться «Подпольная Россия».

Кравчинский сразу точно определил свою задачу: дать характеристику движения в лицах и образах.

Сразу точно представил себе план работы: две-три исторические корреспонденции, а затем — биографические очерки, рассказы об отдельных событиях.

Сразу решил, что первым биографическим очерком будет очерк об Якове Стефановиче по революционной кличке — «Дмитро».

Сразу встали многочисленные сложные вопросы, которые потом вызвали бурную полемику среди друзей Кравчинского.

Опасность для описываемого «живого» деятеля.

Вообще возможность описывать «живого» человека под его именем. (Такой традиции не было в русской литературе в ту пору!)

Порядок расположения биографических очерков, которые потом Кравчинский назовет «Профили». И, наконец, даже то, что серия очерков начнется именно со Стефановича. Стефанович вовсе не был ни самой значительной фигурой из тех, кого решил описать Кравчинский, ни самым близким его другом.

Насчет опасностей мы увидим дальше, как много Кравчинский об этом думал и как он действительно сделал так, что царская полиция ничего не нашла для себя в его книге...

К спорам о возможности описывать «живого» человека мы тоже еще вернемся.

Сразу решил писать «без фокусов», просто, а не в духе Понсон дю Террайля, автора знаменитых в то время «Похождений Рокамболя», построенных на невероятных приключениях.

Порядок и состав «профилей» Кравчинский будет еще много раз обдумывать.

О «Льве» — Тихомирове, одном из немногих уцелевших к той поре членов Исполнительного комитета «Народной Воли», — конечно, писать было нельзя, да Кравчинский и не любил его.

Почему он выбрал для начала именно Стефановича, можно только предполагать. Колоритная личность Стефановича, с авантюристическими наклонностями, центральная фигура так называемого «чигиринского заговора», который он затеял летом 1877 года, решив поднять народ против самодержавия... именем самого царя, якобы бессильного против своих при-

дворных и просящего помощи у народа, — конечно, была понятнее для западноевропейского читателя, чем многие другие.

Может быть, дело было в том, что тогда все мысли Кравчинского были постоянно прикованы к Стефановичу — последнему, кого Кравчинский только недавно проводил из Швейцарии в Петербург. Вероятно, Кравчинский и завидовал ему, и ставил мысленно себя на его место, и в своем воображении постоянно сопровождал его...

Может быть, были и другие причины.

Кравчинский работает поразительно быстро. За один день он кончил первую — вводную — корреспонденцию (потом, в книге — главу), а к следующему дню собирается кончить очерк о Стефановиче.

Недаром эта работа доставляет ему «величайшее удовольствие».

А ведь пишет он не на родном, а на чужом, на итальянском языке.

...Через день или два (это уже не открытка, почтового штемпеля нет) Кравчинский пишет жене большое письмо. Пишет о своей тоске. О том, что собирается в Россию. А денег все нет. «Может быть, моя здешняя литература вывезет. Я всего несколько часов тому назад отнес и получу ответ только завтра, но не сомневаюсь, что будет принято. Я оставил рукопись и раскланялся, а потом из прихожей вернулся, чтобы сказать насчет одной вещи, и застал, что они уже над моей рукописью все сидели. За размеры боюсь — вышло длинновато, а урезать невозможно, в особенности вторую, то есть Дмитро. Я его только характеристику — «портрет» нари-

совал без всякой биографии. Следующий зато будет биографический — Осинский. Затем... ну, да об этом завтра напишу, потому что письмо это отправлю только завтра, когда все узнаю». Затем он всячески успокаивает жену, которая боится, что его местонахождение из-за этой работы раскроется. «Насчет моей беготни по литераторам, опять повторяю, решительно ни малейшей опасности... А письма мои в Pungolo будут как будто присланные из Швейцарии...

Насчет Ольги я в большом беспокойстве. Она очевидно должна провалиться не сегодня, завтра... Во всяком случае надо попробовать ее вызвать. Может, и оправится года через два-три. Только что она делать будет, вот вопрос, чем жить — другой. Очень тугой вопрос...

Только что из редакции «Pungolo». — Я, миленькая, — глупый — это ты правду говоришь. Вот как было дело. Прихожу — докладывают — вхожу. Перед редактором моя рукопись, и он начинает комплимент за комплиментом — и прелестно написано и язык и все такое. Некоторые, говорит, мысли редакция не разделяет, но вы, конечно, позвольте ей сделать примечания — если, чего мы искренне желаем — ваши «письма» украсят столбцы нашей газеты».

Дальше он подробно описывает свой разговор с редактором о гонораре. Сетует, что не смог отстоять 25 франков за «письмо», наверно сбавят по 5 франков. А еще был в торжественной рубашке! Но все же он доволен; скоро сможет послать ей немного денег. Сам он живет на залог, который взял из библиотеки обратно. «Потом напишу вещь хоть полуреволюционную. А это очень и очень приятно после подцензурно-

го блудословия. По мере печатания буду присылать тебе. Я сказал, что всех корреспонденций моих сделаю 13 (нарочно чертовское число выбрал). И думаю вот как расположить.

Первые две исторические. Затем 8 биографий: 4 мужчины и женщины. Дмитро, Осинский, Дмитрий мой, Лизогуб. Затем женщины: Перовская, Вера, Ольга и Геся. Знаю, что ты не одобришь одной из последних, будешь не права... Мужчин мог бы еще: Мошка, Кропоткин, Дворник, Желябов, Михайло... — все типы оригинальные, крупные, сильные, каждый в своем роде. Ну, а женщин кого еще?

Таню, конечно, и я бы поместил ее вместо Ольги, если бы знал о том, можно ли и в какой мере можно говорить о ее деятельности по царевубийственной части. — Ну, а потом кого? Верочку Филиппову? Коленкину? Малиновскую?..

Затем последние три корреспонденции будут изображать три факта — одно бегство (вероятно, Кропоткина — кстати чтоб и о нем сказать, потому что очень известен), потом гартмановский подкуп — в тех размерах, как выяснено на процессе — с некоторыми чисто беллетристическими дополнениями по рассказам Морозова.

Затем отдельная корреспонденция — типографщики. Это будет последняя и самая мрачная и, может быть, лучшая. — Об этом тоже можно говорить, потому что ведь в газетах писали. — Все вместе составит очень хороший материал для будущего историка или романиста».

Итак, после Стефановича он собирался написать очерк о землевольце Валериане Осинском, отважном воине с мужественным сердцем и сильной рукой, казненном в 1879 году. «Дмит-

рий мой» — Дмитрий Клеменц, лучший друг Кравчинского, глубокий мыслитель и блестящий пропагандист. Дмитрий Лизогуб — богатый помещик, отдавший все свое состояние делу революции, человек идеальной нравственной чистоты, «святой от революции», повешенный также в 1879 году...

Из женщин он хотел нарисовать образы Софьи Перовской, Веры Засулич, Ольги Любатович и Геси Гельфман, также приговоренной к смертной казни по делу Первого марта; казнь Геси была отсрочена из-за ее беременности и потом заменена вечной каторгой, но Гесья умерла в тюрьме вскоре после родов.

Все эти люди были соратниками Кравчинского, его друзьями (кроме Геси, которой он лично не знал). Он был беззаветно предан им, любил их «до обожания», они внушали ему «чувства безграничного удивления и восторга». Эти чувства он и хотел передать читателю, показать, сколь яркие индивидуальности, высоко нравственные личности, мощные интеллекты составляли авангард русского революционного движения, запечатлеть их образы, поставить им вечный памятник...

Он мог бы написать и о других.

Мошка — Арсен Зунделевич, один из сильнейших умов движения, один из первых русских социал-демократов, прекрасный конспиратор (впоследствии Кравчинский вывел его в романе «Андрей Кожухов» в образе Давида).

Петр Кропоткин — представитель высшей русской аристократии, князь, рюрикович по крови, имевший больше прав на российский престол, чем Романовы, выдающийся ученый с

мировым именем, неутомимый пропагандист (Кравчинский написал-таки о нем очерк для своей книги).

«Дворник» — Александр Михайлов, человек, всецело поглощенный революционной борьбой, арестованный еще в 1880 году и заточенный в крепости.

Андрей Желябов — идейный вождь «Народной Воли», повешенный по делу Первого марта.

Михайло Фроленко — тот самый, который освободил Стефановича, Дейча и Бохановского из Киевской тюрьмы, чайковец, член «Земли и Воли» и член Исполнительного комитета «Народной Воли».

Татьяна Лебедева — тоже член Исполнительного комитета «Народной Воли», старая приятельница Кравчинского, только что арестована, о ней пока ничего нельзя написать.

Верочка Филиппова — Вера Фигнер — одна из немногих оставшихся на свободе, самый деятельный член Исполнительного комитета, превосходный организатор, — о ней тоже ничего писать нельзя.

Маша Коленкина — подруга Веры Засулич, член «Земли и Воли»; она сама хотела стрелять в Трепова, арестована после вооруженного сопротивления.

Художница Александра Малиновская, бывшая одним из самых преданных членов «Земли и Воли», арестована вместе с Коленкиной.

О каждой из них Кравчинский мог бы написать целые книги, но нельзя ни строчки...

Наверно, ему доставляло неизъяснимую боль и радость самое начертание их имен. Этим он как бы воскрешал их для себя.



Затем он хотел описать несколько замечательных историй из жизни подпольщиков, правильно полагая, что яркие эпизоды дадут более для обрисовки их жизни и характеров, чем многие страницы описаний.

Прежде всего он хотел рассказать о знаменитом побеге Кропоткина — среди бела дня он ускакал из тюремного госпиталя в Петербурге на великолепном рысаке Варваре и затем скрылся за границу.

Ну, и конечно, о так называемом гартмановском подкопе, то есть о подкопе под полотном железной дороги на окраине Москвы, — чтобы взорвать царский поезд, который ожидался на этом пути. Всем делом руководили Лев Гартман и Софья Перовская, которые жили в маленьком домике под видом супругов Сухоруковых. Эта попытка оказалась неудачной. Перовская скрылась, а Гартман бежал за границу — во Францию, и по настоянию царского правительства был арестован французскими властями в Париже в феврале 1880 года. Этот арест вызвал огромное возмущение среди передовых людей всего мира. В защиту Гартмана выступил Виктор Гюго, и Гартман не был выдан царскому правительству, а выслан в Англию, в Лондон. Там Гартман познакомился и подружился с Карлом Марксом и его семьей. Он много выступал в европейской печати со статьями о русском революционном движении. К сожалению, Гартман в изгнании не очень хорошо себя зарекомендовал, статьи его были легковесны и сенсационны, и шум вокруг его имени вовсе не соответствовал значению его личности. Кравчинский и не думал посвятить ему отдельного

очерка, но история подкопа действительно была замечательной.

Рассказ о нелегальной типографии особенно волновал Кравчинского. Убежденный пропагандист, он особое значение придавал вольному русскому слову, а условия работы в нелегальных типографиях были так тяжелы, требовали такой самоотверженности, что Кравчинский понимал всю важность этого очерка.

Итак, план всей работы уже был готов. В дальнейшем ему придется кое-что изменить, но немного.

Но вот беда: Кравчинский никогда не помнил дат, цифр, чисел. А здесь негде и не у кого справиться. Ни людей, ни журналов, ни газет русских.

И в этом же письме он забрасывает жену вопросами — что-то она должна помнить сама, что-то может спросить у друзей, что-то может посмотреть в книгах у Драгоманова. Он просит прислать ему брошюру Кропоткина о Перовской (она летом еще вышла в Женеве на французском языке), номера «Народной Воли» и «Земли и Воли!», где имеются биографические материалы, разные другие газеты с описаниями процессов.

«Потом мне нужно кое-что из чигиринского дела. Я о нем всего десять слов говорю, но и тут по своей привычке непременно перезабыть числа, наверно, наврал. Спроси у Женьки\* и напиши:

---

\* Евгений, Женька — революционная кличка Льва Дейча, ближайшего друга Я. Стефановича и также участника чигиринского дела.

1) в каком году и месяце Дмитро начал его и в каком произошел окончательный погром:

2) как звать мужика, который предал дело исправнику, и в трех словах, как произошло предательство. Я, кажется, напутал.

Потом напиши мне — ты это должна сама помнить:

1) в каком году и месяце мы с тобой познакомились (об этом я публике говорить не буду, но это мне для соображений о других фактах), а также, когда я в Москву с Рогачевым прибежал — в 73 или 74». И таких вопросов еще великое множество (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 51—54).

А работает он дни и ночи напролет. А денег уже нет ни франка. Заложил часы, — недели на две хватит... Жена пишет отчаянные письма в тревоге, что его схватят в Италии, и они так и не прощаются даже. Или придут, наконец, документы из России, и он сразу уедет в Петербург, и они опять-таки не повидаются перед разлукой. И здоровье у нее плохо. И денег нет. И башмаки разорвались, выйти из дому не в чем. И она посылает ему 15 франков, которые с трудом великим достала... И мечтает приехать к нему в Милан...

Кравчинский ее успокаивает: «Попомнишь мое слово — раньше двух месяцев я не двинусь. Да еще, слава богу, если через два-то двинусь. Ну, а через месяц, наверное, ты здесь будешь...

Засаживаюсь за статью свою. Постараюсь кончить до новой корреспонденции, о которой помышляю, представь, с удовольствием. Ужасно приятно после радикальной русской в ретроградную итальянскую прессу попасть. — А уж

как я по-италиански наоструюсь! Просто, хоть газету потом издавай...»

При ближайшем знакомстве газета «Пунго-ло» (по-русски — «Жало») оказалась вовсе не «умеренной», а действительно «ретроградной», одной из самых реакционных итальянских газет.

Первую свою «корреспонденцию», как он ее называл, «историческую» — о нигилизме в России, о том, что «нигилистами» в России называли людей 60-х годов, а в Европе этим именем окрестили революционеров-семидесятников, — и другую, о Стефановиче, Кравчинский сам перевел на русский язык и послал друзьям в Женеву, заранее предвидя, какие возражения они вызовут.

Одновременно он просит друзей устроить эти «корреспонденции» где-нибудь еще, может быть, в Австрии, во Франции.

Вся переписка страшно осложнена его двойной эмиграцией — он не может переписываться прямо ни с Лондоном, ни с Парижем. Уж очень будет подозрительно, что человек ведет такую обширную международную переписку. Это может привлечь внимание полиции. Поэтому все письма он посылает Анне Эпштейн в Женеву, а она уже оттуда посылает по назначению. Так же и товарищам он дает только адрес Анны, а она уже пересылает все ему в Милан. Канительно, дорого, но иначе нельзя!

Анка сообщила ему отзывы Веры Засулич и Льва Дейча на его первые корреспонденции. Оказывается, очерк о Стефановиче вызвал целую бурю. Кравчинский писал Анне Эпштейн:

«А что они рассердятся за Дмитра — я это знал. Они хотели бы, чтоб его расписать всего на золоте. И лицо чтоб все так и светилось, как у Моисея после Синайской горы, — как византийские маляры святых угодников малевали. Ну, да что поделаешь. Взятся [здесь кусок письма оторван]... ажать живого, так живым и изобразил. [Опять нет куска]...

Напиши, ведь и вообще, они наверно Дмитром моим недовольны. Не только за Женьку, а и вообще за всю характеристику, потому что не все добродетели я ему приписал, а и другим штук парочку оставил. Напиши, как тебе показалось. Не думай, пожалуйста, что я сердит, ей-ей нет. Я это знал заранее и знаю, что, например, Кропоткин и княгиня в особенности будут тоже портретом недовольны; вероятно, и Ольга тоже и, может быть, ты тоже, хотя этого может и не будет.

Мне вспомнилось одно замечание фотograфа, у которого я снимал, помнишь, ту карточку, что ты Катерине Дмитриевне \* подарила.

— Ах, как скверно! — сказал я, когда мне ее показали.

— Нет, нет, — отвечала мне фотографщица, — напротив, очень хорошо. Все решительно, когда им показывают их фотографию, находят, что скверно. Но ваша совсем хороша.

Я расхохотался и никаких больше возражений не делал» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 8 об).

---

\* Екатерина Дмитриевна Дубенская — приятельница Кравчинского и Клеменца, помогавшая им в их революционных предприятиях.

Так началась единственная в своем роде дискуссия между автором и изображенными им людьми. Она имела длинное продолжение и не прекратилась и после смерти Кравчинского. Мы расскажем о ней потом.

Книга еще не была написана, но Кравчинский уже ясно представлял себе свою задачу — «изобразить живым» — и предвидел трудности ее и сложность.

В этом же письме он выражал свою тревогу за Ольгу и просил, чтобы написали Стефановичу в Россию об отправке ее за границу.

И в это же время писал жене:

«Ах, Ольга, Ольга, какая она теперь должно быть несчастная! Планы бросила, ребенок умер... Ужасно! Неужели они не могут найти ей какого-нибудь дела. Ведь, кажется, не так трудно голову сложить. А Ольга человек очень решительный»...

У него не было уже ни сантимата... Он заложил свой «торжественный сюртук, сказав хозяину, что к портному пуговицы поставить не су» (об этом он сообщил уже после получения денег, когда выкупил свой сюртук...) А работал он много — «почти каждый день до 2-х ночи и сижу так усердно, что к дивану своему, хоть он и очень мягкий, почти совсем не прикасаюсь даже».

А редакция «Pungolo» все не давала ответа.

И только 2 ноября он мог, наконец, сообщить жене, что «договорился и кончился с Пунголом за 200 франков 13 корреспонденций с сохранением всех прав». Конечно, это очень мало, но издатель этой газеты Эмилио Тревес предлагает издать его корреспонденции отдельной кни-

гой — Россией все интересуются. Тоже даст франков двести. Стало легче. Он может как-то оглядеться вокруг и в этом же письме пишет:

«Ужасно люблю статуи, а они прелестные.

Знаешь, каждый раз, как я в Брере бываю, всегда останавливаюсь минуты на две и обхожу кругом одну статую Кановы. Она называется „Наполеон” и N на подножье, но ничего наполеоновского нет — просто голый человек, который очень быстро идет вперед. Голова — самая обыкновенная. Но торс! До сих пор я никогда не думал, что тело мужчины может быть так божественно прекрасно.

Просто оторваться нельзя от — живота, груди, спины и „подушечек” этого бронзового атлета».

И к этому письму он написал постскрипту. Живое слово живого человека:

«P. S. Письма мои, если не жжешь, то зачеркивай некоторые места. — А то мне стыдно. Вдруг после моей смерти издадут мой письмовник и комментаторы начнут рассуждать — что такое «подушечки» изображают и какие именно автор имел в виду. А так как о них упомянуто после спины, то... Видишь, как стыдно будет. Ну, прощай и пиши».

...Комментаторы об этом рассуждать не будут. Просто улыбнутся.

Во вторник, 8 ноября 1881 года читатели газеты *Il Pungolo* (Corriere di Milano) среди других материалов увидели заголовок «*La Russia Sotterranea*». Затем шло предуведомление от редакции. Она сообщала читателям, что начинается публикацию серии писем одного русского патриота, которые раскроют «великие и ужас-

ные тайны» русского нигилизма. Письма эти написаны по-итальянски самим автором и присланы из Швейцарии. После введения об истории и природе русского нигилизма будут помещены биографии знаменитых нигилистов — четырех мужчин и четырех женщин и несколько рассказов, характеризующих их. Письма эти представляют живой интерес для читателя и несомненно произведут большое впечатление.

Затем следовал подзаголовок: «Lettera 1<sup>a</sup> Preludio» — т. е. «Письмо первое. Вступление».

Так родилась «Подпольная Россия».

Удивительное название дал Кравчинский своим письмам — «Подпольная Россия»!

Действительно, кроме царской России, кроме рабской России, кроме страны жандармов, палачей, чиновников, преуспевающих газетчиков-блюдолизов, кроме страны нищих крестьян, голодных рабочих, кроме страны людей, сочувствующих народу и обуреваемых иногда «благими порывами», есть еще, — утверждал он, — Россия благородных, мужественных, честных борцов за счастье народа, Россия героев, Россия революционная, подпольная!

Только вот на итальянском языке такого слова нет! Пришлось вместо «подпольная» перевести — «Sottterranea», т. е. «подземная»... (Так же звучало это слово и на английском — «underground», и на французском — «souterraine».)

В этот же день Кравчинский послал жене и Анке три экземпляра газеты. В этот же день он получил деньги, 100 франков, половину всего гонорара. В этот же день он отправился на радости в оперу — в знаменитый театр «Ла Ска-



ла» — «...не бойся, даром, в Пунголе дали даровой билет», — писал он жене.

Теперь уже их встреча близка. Он посылает ей деньги, она расплатится с долгами в Женеве и приедет к нему в Милан!

Через три дня он пишет жене и Анке. Вот только теперь он сообщил им о заложенном сюртуке... Пишет о том, как хвалят его итальянский язык. «...Все мои приятели (несмотря на конспирацию, несмотря на то, что сидел день-деньской в библиотеке, все-таки у него уже много приятелей! — *Е. Т.*) — очень мою штуку одобряют, в особенности мой поэт — ну, да он, впрочем, очень взбалмошный и шалый. А вот что мой будущий издатель очень хвалит — это мне чрезвычайно приятно...»

Дальше сообщает, что вслед за очерком о Стефановиче будет писать о Дмитриии Клеменце, так как материалов об Осинском еще не получил, «да так, кажется, даже лучше будет с литературной стороны».

Уже больше двух лет Клеменц просидел в тюрьме в ожидании суда и вот недавно, в конце лета, без всякого суда, по высочайшему повелению, отправлен этапом в Сибирь. Кравчинский думает о нем постоянно.

В этом же письме, уже обращаясь к одной Анне, жене Клеменца, Кравчинский пишет ей:

«Милая Анка! Какие тебе странные мысли в голову приходят! Неужели ты думаешь, что я не вспомнил об исключительном положении Дмитриия. Только потому я и буду писать, что знаю, что никакого вреда от этого ему произойти не может, в каком бы положении он ни был. Да ты, наверное, сама это отлично знаешь, и

в тебе говорит вовсе не страх за него, а просто «скромность», которую иначе не могу назвать, как мышиною: чтоб, боже сохрани, дальше как в твоей норке тебя никто не видел и не знал. А вот я хочу, чтоб знали и будут знать.

А что он, говоришь ты, только нам с тобой интересен, так это вздор чистый. Нет человека, который умел бы внушать такие глубокие и неизгладимые никаким временем привязанности и даже обожания. Спроси об этом Фанку и Катю.

Да, наконец, милая Аночка, тут дело не в том, кому кто интереснее, а тут дело в типичности, так как все это клонится к известной полноте художественного впечатления. А на этот счет, ты знаешь, я не умолим и беспощаден.

Знаешь, ты и на свой счет напрасно так скоро успокоилась. В Пунголе тебя не будет, но ведь потом выйдет и отдельное издание, которое хочу дополнить несколькими рассказами и портретами. Очень может быть, что и ты в них очутишься...» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 62).

Как ни торопился он, как ни нуждался, как ни разрывался между переводами, небольшими заметками в разные русские газеты, откуда все не приходили ответы, статьей об итальянских поэтах, которая уже была готова, но которую надо было тщательно переписать перед отправкой,— больше всего его заботила «Подпольная Россия».

Дать характеристику движения в лицах и образах, изобразить эти лица «живыми», рас-

сказать европейской публике настоящую правду про нигилистов... И при этом достичь полноты художественного впечатления...

Как это сделать?

16 ноября была напечатана вторая корреспонденция — Письмо второе — о периоде пропаганды и 26 ноября третья — о терроре. Редакция в примечаниях своих отмечала успех этих «писем» и живейший интерес, с которым их встретил итальянский читатель.

Эти «письма», как и все дальнейшие, были уже подписаны — очевидно, решили, что так лучше, чем безымянно, как первое «письмо».

Кравчинский подписался «Stepniak» — «Степняк», вероятно, вспомнив родные украинские степи. Впрочем, итальянскому читателю это имя ничего не говорило.

Приехала из Женевы Фанни. Наконец они увиделись. Она привезла множество новостей. Ведь Швейцария была людным перекрестком для всех русских за границей.

А вот новость специально для Сергея: Анка согласилась выполнить его просьбу — описать свои впечатления от последней поездки в Россию.

Второго декабря Фанни писала Анке в Женеву: «Вчера он окончил Дмитрия и, кажется, уже отдал в набор. Сергей очень доволен, что ты пишешь ему сочинение о своем пребывании в Питере».

Сергей тут же приписал: «Очень и очень благодарен тебе за твое сочинение о всех твоих пребываниях в Питере. Пиши как можно больше и решительно все». Обещает барыши поделить пополам.

Но тут пришла весть, которой он ждал со страхом — Ольгу арестовали... Бедная, бедная Ольга. Что с нею будет?

И новая тревога: у Ольги был прямой адрес Сергея на Милан. Если его взяли при аресте Ольги — значит, надо убираться отсюда. Фанни писала Анке об Ольге: «Она все время звала Сергея в Россию, якобы, для общественных дел, а на самом деле для спасения Морозова. Жаль ее, но бесит ее слепой эгоизм. Сергей очень неосторожен. Хочу отправить его в Лондон». (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 11—12 и 17).

Но Кравчинский так был занят своей работой, так увлечен ею, что и думать не хотел об отъезде из Милана.

Он лихорадочно кончал свои «письма». Уж так ему работалось — только «запоем», да к тому же деньги были необходимы, как никогда.

Через несколько дней он сообщает Анне, что закончил всю работу. «Завтра понесу в Пугало и получу деньги, в которых нужда смертная, ибо заложено: плед, фанино платье и мой сюртук торжественный — все до тла...

А знаешь, вся работа моя вместе взятая составит книжку в 300 страниц французского формата. Целое произведение! Мне было очень грустно, когда писал, что работаю так медленно. Но теперь, когда все кончено, нахожу, что это чрезвычайно скоро» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 19—21).

Действительно, вся работа заняла у него около двух месяцев, да за это же время он и переводил, и закончил статью об итальянских поэтах, и написал несколько корреспонденций в русские газеты...

Еще через несколько дней Кравчинский писал Анке, торопя ее закончить записки о пребывании в Петербурге, начало которых она уже прислала. Он собирался включить их в отдельное издание «Подпольной России».

«Я очень стою за эту свою работу и она занимает меня гораздо больше всех моих русских работ вместе взятых, ибо «не едиными хлебами» и т. д...

Итак садись и пиши. Ты написала очень мало... Опиши волнения на границе, слухи об аресте Морозика, гонку за Таней в Питере, общий характер петербургской жизни нигилистов...

NB. Пиши все, не бойся. Я вовсе не все помещать буду... О современниках, да еще своих людях, нельзя писать что попало...

Вера у меня в полтора печатных листа получилась и я ее портретом очень доволен. Перовская вышла еще больше, потому что я «пуббиографию написал» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 23—26).

В начале января 1882 года он снова писал Анне Эпштейн:

«Посылаю тебе три корреспонденции, которые не посылал до сих пор, потому что как-то охоты не было: в Пунголе они ведь в очень сокращенном виде. Так, в «Дмитрии» пропустил несколько очень характерных анекдотов и случаев из его приключений, и между прочим всю прелестную историю (по своему комизму) с освобождением Тельсиева. Это войдет только в отдельное издание» (ф. 1158, ед. хр. 165, л. 8).

Действительно, это была «прелестная» история: будучи сам уже на нелегальном положе-

нии, Дмитрий Клеменц приехал в Пудож (Кравчинский забыл и написал — в Петрозаводск) с подложными документами на имя капитана Штурма, якобы производить здесь геологические исследования; очаровав все местное начальство, через неделю Клеменц уехал, увезя с собой одного ссыльного — для этого-то он и приезжал туда...

Как ни старался Кравчинский писать покороче, все его очерки получались гораздо больше, чем могла поместить газета. Поневоле приходилось сокращать. Сокращения делались второпях, и все это очень огорчало Кравчинского. Но он готовил рукопись к отдельному изданию, и там уже все должно было быть как следует.

Уже были напечатаны все три «исторические» корреспонденции, а также очерки о Стефановиче и Клеменце. «Письмо шестое» о Валериане Осинском было напечатано 3 января 1882 года.

Дальше план пришлось изменить.

Арест Ольги, неизвестность ее судьбы — делали невозможным очерк о ней. Вместо этого Кравчинский решил написать о Кропоткине. Очерк о нем пошел как «Письмо седьмое» — 10 января. Дальше очерки появлялись через одну-две недели.

Кравчинский посылал вырезки из газет своим друзьям в Париж, в Лондон, в Вену с просьбой устроить там печатание их переводов.

Из Парижа его друг, член Красного Креста «Народной Воли», эмигрант Николай Цакни писал весьма обнадеживающе, что отрывки из его писем появятся в газете «La Justice», что есть издатель, желающий выпустить его книгу

и отдельным изданием. Договорились даже уже с Лавровым, что тот напишет предисловие.

Другой приятель обещал устроить его письма в одной американской газете. Интерес к России всюду был огромный.

Но все это были только обещания, а деньги, полученные из редакции «Пунголо», уже были истрачены на погашение долгов, на самые неотложные нужды. А Тревес все тянул и не давал окончательного ответа насчет отдельного издания «Подпольной России», хотя всячески хвалил ее...

Кравчинский в отчаянной спешке переводил два романа для журнала «Дело». Один принадлежал перу немецкого писателя Роберта Бира и назывался «Депутат либеральной партии». Кравчинский начал его переводить, когда он еще печатался подвалами в одной газете, и теперь приходил в отчаяние: роман оказался из рук вон плох, нечего было и думать опубликовать простой перевод, Кравчинский что-то опускал, что-то дописывал сам.

«Теперь я уже Бира кончаю, — писал он Анне Эпштейн 7 февраля 1882 года, — ужасных он, подлец, трудов мне стоил. Шутка ли придать приличный и даже «не тяжеловесный» вид такому остолопу. Господи, какие в нем идиотства! Хоть бы это целование руки у старухи или сама старуха, ругающая как торговка умершего отца при дочери! Все это мы, конечно, переделали в наилучшем виде, так что и Марцеллина премиленькая девочка выйдет и старуха тоже ничего себе» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 165, л. 60—61).

Перевод этого романа был напечатан в «Деле» за 1882 год в № 1—4.

Другой роман он переводил с испанского. Это был «Золотой фонтан» известного писателя Бенито Переса Гальдоса, посвященный волнениям в Мадриде в начале XIX века. Зловещие картины наступавшей реакции, употреблявшей все средства для подавления народных восстаний, резко контрастировали с наивностью и простодушием молодых энтузиастов-повстанцев. Описания Мадрида, характеры героев были колоритны и оригинальны.

Сергей работал «как вол» (писала Анне его жена), но денег не было. Даже хлеб приходилось брать в кредит.

В это время он писал Лаврову, благодарил его за согласие написать «предисловие к моей книжице» и просил прислать свои замечания. «Печатание в Pungolo я в сущности настоящим не признаю. Это не много больше, чем корректурные листы, потому что и читать-то ее много коли сот пять человек читают, да и те где-то в глухих закоулках. Поэтому в отдельном издании, которое, надеюсь, где-нибудь да состоится, буду поправлять нещадно, точно рукопись» (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 34 об.).

И в самый разгар этой работы Сергей получил из Женевы письмо от Льва Дейча, который сообщал Кравчинскому о вызове в Россию. Стефанович, введенный недавно в Петербурге в состав Исполнительного комитета «Народной Воли», по его поручению вызывал в Россию Дейча и Кравчинского. Им прислали деньги и нужные бумаги, обещая в ближайшие дни уточнить последние необходимые детали.

И тут Сергей Кравчинский во имя «Подпольной России» принес наивысшую жертву —



отказался от немедленной поездки на родину, о которой столько мечтал.

Он написал Льву Дейчу длинное письмо, и Дейч переслал это письмо Стефановичу в Россию.

Кравчинский писал Дейчу:

«Мне, милый Женичка, нет *ни малейшей* возможности ехать с твоей оказией. У меня несколько начатых работ, которые бросить неоконченными ни в каком случае не могу. Во-первых, моя книжка, относительно которой более подробные сведения может дать Анка. Я уже обязался в двух местах составить ее, множество людей взбудоражены, и вдруг я всех надую, это весьма неприлично и я не желаю этого делать в данном случае еще потому, что полагаю, что книжка будет полезная.

Кроме того, у меня имеется еще одна легальная работа, которую тоже нельзя не кончить: это просто значило бы прослыть мазуриком или по крайней мере человеком, не сдерживающим свое слово.

Ты, может, спросишь, почему же я раньше не закруглил своих работ, так как был „предупреждаем“. Ах, голубчик, вспомни только, что было в Кларане после 1-го марта, когда Анна приехала. Тогда, кажется, уж на что было верно. Это не помешало же, однако, протянуть меня за душу целый год ведь. Что же удивительного, если я решил раз навсегда не придавать абсолютно никакого значения никаким обещаниям и не запускать из-за них никакой денежной работы.

Я, признаться, и теперь, даже если и верю, что мне все пришлют, то и то „не гораздо“, и

если бы оказалось, например, что не прислали бы снова — нисколько бы не удивился, ибо к тому привык. Но как бы то ни было по причинам, приведенным выше, мне теперь ехать нет ни малейшей возможности. Две названные работы, да еще два перевода, которые тоже сдать никому не могу, займут у меня около двух месяцев, поэтому самое лучшее вот что: оставь все нужное у Веры. Я тогда буду знать и буду взаправду верить, что дело сделано, и готовиться. Пока же этого не будет, я ей-же-ей не стану».

Далее он радостно сообщал, что его работы дадут ему сумму, достаточную для того, чтобы уехать, не оставляя долгов, следовательно, не нужно денег «на выкуп», а нужно только на дорогу и в конце добавлял:

«Насчет же моей доставки к месту назначения не сумлевайтесь ни крошечки. Буду доставлен в наилучшем виде и никем иным, как тою же Анною собственноручно. Ведь она затем же и приехала. Кроме того, она ведь отлично знает, что ее отказ не остановил бы меня. Поехал бы сам на адреса контрабандистов — только риску больше. Ну, еще раз обнимаю тебя. Напиши, когда двинешься. Нет ли новых известий из России?»

Новые известия из России вскоре пришли...

Шестого февраля (в Европе было уже 18 февраля) был арестован в Москве Яков Стефанович.

Лев Дейч сообщил об этом Кравчинскому одновременно с присылкой письма Стефановича Сергею, написанного еще в конце 1881 года... Яков Стефанович писал Кравчинскому:

«13 (25) декабря.

Дорогой С.!

Ты, вероятно, начал уже думать, что мы тебя забыли. Нет, друг, это неверно. До сих пор мы тебя не вызывали,— да и не вызываем пока,— по многим, весьма основательным причинам. Главная — это наша слабость, как организации, в материальном и техническом отношении,— слабость, при которой новые силы и при том — дорогие силы — не могут быть утилизированы в должной степени, да к тому же не могут быть обезопасены в необходимой мере со стороны полицейской. Мы уверены, что в феврале месяце, наипозже к марту, будем настолько крепки и настолько богаты, что сочтем себя в полном праве потребовать тебя на службу. Лично я хотел бы тебя видеть здесь гораздо раньше...»

Далее Стефанович также от имени Исполнительного комитета «Народной Воли» обстоятельно излагал проект издания за границей толстого нелегального журнала.

Комитет предлагал Сергею вместе с Лавровым составить редакцию будущего журнала и организовать редакционную группу, «входящую как часть в общую организацию Народной Воли на общих основаниях, т. е. в зависимости от Комитета. Направление и руководство журналом будет принадлежать ему, но, конечно, редакция, в силу уже своего положения будет иметь огромные автономные привилегии. Да к тому же и журнал не будет носить строго партийного характера. Главное — чтобы он был живым, заменяющим отчасти отсутствие у нас вольного слова».

Затем он писал о возможных кандидатах в члены редакции — о Плеханове, Вере Засулич, Варфоломее Зайцеве, о приобретении типографии, о необходимости достать деньги. И в конце добавлял: «Ты, разумеется, будешь временно в редакции, пока существуешь там! А хорошо, если бы это дело устроилось и установилось до твоего отъезда...

Будь же здоров, дорогой друг. Бьемся из сил, чтобы поставить организацию прочно на ноги и хотим начать настоящее дело, которое будем делать вместе с тобою. Главное — большие деньги. Это во-первых, это во-вторых, это и в-третьих. Крепко и много тебя целую.

Поцелуй от меня Фанни и Анку. Твой Дм.»

На этом письме Стефановича Лев Дейч приписал сбоку:

«Моего брата уже нет более на свободе» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 282, л. 3—4).

Лев Дейч и Стефанович любили друг друга как братья, и все товарищи знали об этом...

Можно себе представить, с каким горьким чувством читал Сергей это письмо от человека, вычеркнутого уже из числа живых, по крайней мере, на время.

С какой бодростью и уверенностью оно написано. А после него произошло столько событий: уже Стефанович написал о вызове Сергея и Дейча в Россию. Уже он получил ответное письмо Сергея, пересланное ему Дейчем. Уже он арестован.

(И это ответное письмо Кравчинского дошло до нас среди документов Департамента полиции. Оно было забрано у Стефановича во время его ареста и «приобщено» к его делу. Уже пос-

ле 1917 года Лев Дейч, разбирая в полицейских архивах дела своего друга, нашел и это письмо Сергея и опубликовал его в своей книжечке, посвященной Кравчинскому: «С. М. Кравчинский». Петроград, Госиздат, 1919, стр. 60—61,— явно ошибочно датировав его: «март 1882 года», тогда как несомненно оно было написано не позже января 1882 года.)

Итак, жизнь снова оказала милость Сергею. Если бы он не задержался из-за «Подпольной России» за границей и прибыл бы в Москву — он был бы вместе со Стефановичем и неизбежно был бы арестован тоже...

Как непоправимо изменилась судьба героя его первого очерка. Неужели этому очерку суждено стать некрологом, реквиемом?..

Тем временем Кравчинский уже окончательно договорился с Тревесом об издании «Подпольной России», отметив в записной книжке под датой «18 февраля» — «С Тревесом».

В этот же день он писал Анне Эпштейн:

«...только что вернулся от Тревеса, с которым договорился окончательно. Он платит мне 300 франков, но только за одно издание в 1200 экземпляров и без переводов, которые все в мою пользу... Самое печатание будет произведено с молниеносной быстротой, так как ему *чрезвычайно* понравилось. Он это сказал сам» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 165, л. 49).

Через шесть дней, под датой «24 февраля», Кравчинский отмечает: «Чквскму с просьб предсл Лврв отнес Тревесу мущин».

Конец этой записи расшифровывается легко. Это значит, что Кравчинский отнес своему издателю первую часть рукописи,— все исправлен-

ные и отредактированные им очерки о революционерах мужчинах.

Прочсть начало этой записи помогает одно из писем, сохранившихся в фонде известного народника Николая Чайковского, по имени которого и кружок народников еще в 1872 году получил наименование «кружка чайковцев». Это был старый приятель Кравчинского, после долгих странствий поселившийся в Лондоне. Это с ним Сергей вел переписку относительно опубликования «Подпольной России» в Англии.

В одном из писем Кравчинского (конечно, без даты!) читаем:

«Милый друг!

Снова приходится тормозить тебя. Вот в чем дело: я уговорился с здешним издателем окончательно и уже представил ему первую порцию своей книжки. Печатание начнется очень скоро и кончится тоже очень скоро, потому что издатель очень крупный (хотя заплатил он мне сумму не ахти какую крупную — 300 франков, но с сохранением за мною права производить все переводы, какие пожелают). — Но так как я хочу остаться и здесь под псевдонимом Stepniak'a, то он, издатель, ставит для этого условием лавровское предисловие, обещанное им для французского издания, когда оно предполагалось. Поэтому попроси его от меня сделать это предисловие теперь же, по-французски или по-русски, как ему угодно. Я переведу.

Ввиду довольно обширных размеров книжки (а также ввиду облегчения труда Петра Лавровича), предисловие должно быть очень коротенькое — всего в несколько страниц. Цель его заключается в том, чтобы выразить в соответст-

вующей литературной форме, что сия книга написана человеком, принимавшим непосредственное участие в движении, которое он описывает, что, одним словом, это не шарлатанская компиляция, рассчитанная на легкое верие публики.

Я совершенно признаю законность такого желания издателя. Почем, в самом деле, кто знает, что за птица этот *Stepniak*.

Если бы я свою фамилию написал, то хотя и ее, конечно, никто не знает, но, наведя справки, узнали бы. Но этого мне делать не хочется, не потому чтоб я думал, что мое авторство скроется. Напротив, я думаю, что в конце концов это сделается известным по указаниям, находящимся в самой книге. Но мне было бы крайне неудобно, если бы это раскрылось теперь, потому что *пока* мне по разным обстоятельствам необходимо жить в Италии. А это будет сопряжено с некоторыми опасностями, если я пропечатаюсь полной своей фамилией.

Кроме того, последнее было бы своего рода «вызовом», тогда как если даже узнают *по наведению*, что Степняк — я, полиция всегда может отмахиваться: я, мол, почем знаю. Вот почему мне необходимо предисловие и потому уж попроси, чтоб он написал его. Нужно как можно скорее, чтоб не задерживать выхода. Самое маленькое, так что особенной траты времени оно стоить не будет, а уж пойдет во всех изданиях, если им суждено осуществиться. При составлении его может совершенно не стесняться сообщениями о том, что меня компрометировать может: в главе о тайной типографии я прямо говорю, что был одним из редакторов «Земли и Воли».

Так уж, пожалуйста, похлопочи, и главное, поскорей, потому что очень спешно.

Напиши, правда ли, что у Петра Лавровича всю переписку украли? У него должно быть мое письмо с миланским адресом, не моим лично, это правда, но таким, который я в Россию отправил, так что мне интересно знать, нужно ли его менять или нет». В конце он спрашивает, как обстоит дело с изданием «Подпольной» в Англии (ЦГАОР).

Это письмо помогает нам расшифровать строчку в записной книжке Кравчинского под 24 февраля так: «Чайковскому с просьбой предисловия Лаврова», а эта строчка в то же время дает нам возможность точно датировать это письмо Степняка Чайковскому — 24 февраля 1882 года...

(А тревога по поводу переписки Лаврова была не напрасной — вследствие происков царской жандармерии за несколько дней перед этим — 8 февраля 1882 года — Лаврова, как представителя Красного Креста «Народной Воли», выслали из Франции, и ему пришлось уехать в Лондон. Перед высылкой Лавров был подвергнут обыску...)

Примерно в эти дни Кравчинский получил письмо от Исполнительного комитета «Народной Воли», в котором товарищи уже официально предлагали ему и Лаврову составить редакцию и издавать заграничный журнал. (Это письмо — об издании заграничного журнала — они называли «письмо № 2», а «письмо № 1» — о принципиальных положениях дальнейшей деятельности «Народной Воли» — до Кравчинского дошло еще через несколько дней.)



Кравчинский немедленно составил ответ и послал его Лаврову для согласования, предлагая ввести в редакцию еще и П. А. Кропоткина. В постскриптуме Кравчинский писал: «Вам, вероятно, Чайковский передал уже мою просьбу относительно предисловия для италийского издания моих корреспонденций.

Вы были так добры, что обещали его для предполагавшегося французского. Но италийский пожелал иметь его по весьма понятным причинам. Как при знакомстве с отдельным человеком, так и с публикой нужна для внушения доверия рекомендация уже знакомого человека.— Поэтому очень попрошу Вас прислать это предисловие если возможно, то поскорей. Моя книга совсем готова, так что это может задержать начало печатания... Цель предисловия просто сказать, что Stepniak действительно то, за что он себя выдает: человек, непосредственно принимавший участие в движении, которое описывает» (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 74—75).

Нам известно, что Лавров тотчас же написал предисловие к «Подпольной России» (оно датировано — Лондон, 4 марта 1882) и послал его, как просил Кравчинский, на адрес Веры Засулич в Женеву. Однако там оно пролежало около двух недель, что доставило немало беспокойства и Кравчинскому и Лаврову, так как он не оставил себе даже черновика. Мы еще вернемся к этому предисловию, оно тоже вызвало бурные дискуссии среди друзей Кравчинского. Надо только сказать, что это предисловие было включено почти во все издания «Подпольной России» на всех языках... кроме русского, ибо русскому

читателю не нужно было представлять Кравчинского. И так получилось, что это интереснейшее произведение Лаврова, содержащее, кроме краткого очерка русского революционного движения, и характеристику Кравчинского и оценку его «Подпольной России», до сих пор не известно русскому читателю, так как никогда не издавалось на русском языке... (В дальнейшем мы расскажем о нем подробно.)

В начале марта 1882 года Кравчинский узнал, что окончился процесс 20 революционеров, проводившийся в Петербурге 9—15 (21—27) февраля. По этому процессу судили его самых близких друзей. Николай Морозов был приговорен к каторге без срока, Александр Михайлов («Дворник») и Таня Лебедева — к смертной казни, замененной им впоследствии вечным заключением, Александр Баранников — к каторге без срока.

Этот приговор давил его как мрачный кошмар. Тем дороже становился каждый уцелевший товарищ.

И поэтому, когда Кравчинский получил письмо Льва Дейча от 4 марта 1882 года с извещением, что тот едет в Россию, а документы и деньги для Сергея оставляет у Веры Засулич (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 268, л. 10—11), — он, сразу догадавшись, что Дейч едет на выручку Стефановича, написал ему горячее письмо, тщетно стараясь быть рассудительным:

«6 марта 1882 года. Милан.

Ох, Женичка, Женичка, милый, тяжело человеку в твоём положении говорить „не ездй“, вместо того, чтобы сказать: „едем вместе“. Но я все-таки это говорю в надежде, что, когда прой-

дут первые минуты жгучей острой боли, ты признаешь справедливость моих слов.

Зачем ты едешь? Это очевидно, что бы ты ни говорил: тебе хочется погибнуть тоже. Это ясно. Я это чувство понимаю, и нужно быть деревяшкой, чтобы не оценить его. Но нужно сдерживать даже лучшие порывы, если они могут только вред принести тем, за кого ты рад душу отдать. Вот почему и пишу.

Ты едешь для Дмитра — очевидно... Обсудим же его положение хладнокровно».

И уже не для читателей газеты «Пунголо», а для друга, знающего это все не хуже его, Кравчинский перебирает этапы революционной деятельности Стефановича. Это письмо — как трезвый комментарий к восторженному очерку. Другая цель — другие средства. Но и здесь Кравчинский для убеждения друга привлекает весь арсенал художественных сравнений, суровых афоризмов, жизненных примеров.

Перечислив все «преступления» Стефановича, Кравчинский делает вывод, что они ни в коем случае не грозят Стефановичу смертной казнь. «Значит, начнутся во всяком случае пересылки, если не ссылка.

В это время на освобождение всегда шансы есть. Но ты сам знаешь, что для того, чтобы началась освободительная работа, мало, чтобы человек пользовался всеобщей симпатией, всеобщим почетом и все такое. Как бы велики ни были эти симпатии и этот почет, они останутся бесплодными и бесполезными, если нет человека, который всю душу, все мысли отдаст исключительно этому делу, который никогда ничем другим не увлекся бы и не отвлекся бы. Одним

словом, такой, для которого это сделалось бы целью жизни.

Таким человеком для Дмитра можешь быть ты и — ты это сам понимаешь — только ты один. Грустно ли это или нет — все равно. Факт верен, и жестокий и неумолимый рассудок это заставляет сказать. Что я готов для Дмитра головой рискнуть, этому ты поверишь, и если придется, то можешь испытать это на деле: я это тебе обещаю заранее, а ты знаешь, что в таких делах мое обещание твердо, как каменный утес.— Но, чтобы сделать это освобождение целью своей жизни, для этого нужно быть тобою. Ты один можешь употребить в пользу все симпатии, которыми пользуется Дмитро и которые готовы выразиться в помощи и денежной, и личной всех родов и видов. Ты один сможешь соединить их в одно практическое предприятие. Иначе они пропадут., как пропадает тепло от сжигаемых в разных концах угольков, которые, будучи соединены в одно место, могли бы расплавить металл.

Вот почему мой тебе совет не ездить и ждать... сколько понадобится по делу Дмитра....

Не решаюсь настаивать на том, чтобы ты оставался во что бы то ни стало. Когда Ольга ехала освобождать Морозика, я был вполне убежден, что она ровно ничего не сделает. Но я не удерживал ее ни одним словом, потому что отлично видел, что если она останется, то сойдет с ума. Может быть, и для тебя лично свыше сил оставаться теперь здесь и ждать, ждать и ждать. Тогда возражать нечего: на нет и суда нет. Но если только у тебя хватит твердости остаться, то тебе остаться следует. Для меня это

очевидно, и я не знаю только, ясно ли я изложил свои мысли. Я скажу тебе прямо, — как говорил прямо все, что сказал выше, — желая, чтобы ты остался, думаю вовсе не о тебе. Что ты погибнешь очень скоро, поехавши, это я, конечно, знаю, и мне тебя жаль. Но ведь все мы погибнем. Днем раньше или позже — это не так важно. Я думаю в данном случае о Дмитре, даю тебе слово. Да к тому же ведь теперь тебе лично было бы, наверное, приятнее сидеть, чем быть на свободе.

Не прими, поэтому, моего письма за обычное „отговаривание” ввиду разных сантиментов.

Все мы должны погибнуть и должны идти на гибель прямо и смело, смотря ей в лицо. Мне просто до слез жаль, что ты погибнешь даром, а Дмитро пропадет наверное...» \*

В этом письме внимательный читатель узнает мысли и строчки, уже знакомые ему по «Подпольной России». Всего только три-четыре месяца тому назад, в «Lettera 3», посвященном террору, Кравчинский писал о русском террористе: «С того дня, когда в глубине своей души он поклялся освободить родину, он знает, что обрек себя на смерть... Бесстрашно он идет ей навстречу, когда нужно, и умеет умереть, не дрогнув... как воин, привыкший смотреть смерти прямо в лицо».

Еще более точно писатель воспроизводит эту мысль из письма к Льву Дейчу в повести «Домик на Волге», написанной им более чем десять лет спустя: «Мы все на гибель идем... и идем с

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 3. М.—Л., Госиздат, 1925, стр. 157—160.

открытыми глазами», — говорит герой повести, молодой революционер, и добавляет: «И в этом наша сила. В этом обаяние и величие нашего призвания, в этом залог нашего торжества».

Автор книг и автор письма выражает одни и те же мысли, одними и теми же словами.

Общественный деятель и частное лицо, боец и писатель слиты в Кравчинском воедино. Он — цельная личность, именно поэтому даже, казалось бы, высокопарные выражения и выпендренный тон — приобретают в его книгах естественность и безыскусственность.

Эти дни Кравчинский работал с таким напряжением, как никогда. Он закончил перевод романа Р. Бира и отправил его Станюковичу. За десять дней, как он сам отмечает в записной книжке, он закончил намеченные очерки для «Подпольной России» — «Два побега», «Укрыватели», «Тайная типография», закончил историю взрыва под Москвой, значительно расширив ее по сравнению с газетным текстом. Он отредактировал и перевел на итальянский язык весь рассказ Анны Эпштейн, назвав его «Поездка в Петербург», и написал к нему введение.

16 марта он отнес к издателю всю рукопись, кроме предисловия, которое только что прибыло, наконец, из Женевы (его еще нужно было перевести на итальянский), и кроме своего заключения, обещав все это занести через несколько дней. Нужно было также перевести на итальянский язык «Письмо Исполнительного комитета Народной Воли императору Александру III», написанное сразу после убийства Александра II. В этом письме «Народная Воля» из-

лагала свои требования новому императору. Кравчинский расценивал его, как «великий исторический документ», считал необходимым познакомить с ним европейского читателя и включил его в свою книгу и на итальянском языке, и в переводах на другие языки, проявив этим незаурядную политическую дальновзорность.

Известно, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин очень одобрительно отзывались об этом документе. К. Маркс писал дочери 11 апреля 1881 года: «Петербургский исполнительный комитет, который действует так энергично, выпускает манифесты, написанные в исключительно „сдержанном тоне“...» (— Соч. Т. 35, стр. 147). Г. Лопатин приводит слова Ф. Энгельса: «И я и Маркс находим, что письмо Комитета к Александру III положительно прекрасно по своей политичности и спокойному тону. Оно доказывает, что в рядах революционеров находятся люди с государственной складкой ума»\*.

В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» писал: «...деятели „Народной воли“ в самом начале царствования Александра III „преподнесли“ правительству альтернативу именно такую, какую ставит перед Николаем II социал-демократия: или революционная борьба, или отречение от самодержавия» (Полн. собр. соч. Т. 5, стр. 56).

Одновременно Кравчинский вел оживленную переписку с Лавровым о предполагаемом заграничном народовольческом журнале.

---

\* Материалы для истории русского социально-революционного движения. [Ч. II]. Женева, 1893, стр. 99.

Одновременно он был занят еще одним делом первостепенной важности.

Вместе со своим письмом от 4 марта Дейч прислал Кравчинскому коллективное письмо Исполнительного комитета «Народной Воли» к заграничным товарищам, составленное Львом Тихомировым (которое они потом стали называть — «письмо № 1»). Отвечая Дейчу 6 марта, Кравчинский в конце приписал: «Лаврову напишу и народовольцам тоже отпишу, но только завтра. Сегодня, ей-ей, не могу на такую белиберду ответа писать».

Конечно, это письмо не было «белибердой», но мы знаем, как скептически всегда относился Кравчинский ко всяким «теориям», да к тому же в тот день он, вероятно, не мог думать ни о чем ином, как о судьбах товарищей...

В своем коллективном письме народовольцы писали о стремлении соединить все силы для революционной борьбы. Для этого, конечно, необходимо в первую очередь выяснить основные задачи на ближайшее время.

На экземпляре, который получил Сергей, было написано рукою Льва Дейча: «Прислано из России с перечнем следующих лиц, которым только нужно дать его на прочтение: тебе, мне, Вере (Засулич), Жоржу (Плеханову), Павлу (Аксельроду), Лаврову, Кропоткину, Гартману, Александру (Хотинскому), Василию (Игнатову) и Ивану (Бохановскому). Евгений».

Именно с этими товарищами хотели прежде всего договориться народовольцы. Настаивая на необходимости полного взаимопонимания, они резко осуждали выступление Павла Аксельрода на недавнем международном конгрессе со-



циалистов в Хуре, где Аксельрод представлял русских революционеров и выступил с большой речью. В этой речи он характеризовал современный этап движения в России, остановившись, конечно, главным образом, на деятельности «Народной Воли». Народовольцы сочли его речь «вредной» для них и искажающей истину. «Вообще,— писали народовольцы,— мы очень бы желали, чтобы нас не характеризовали публице без предварительного соглашения».

Письмо было довольно путаное. Они писали: «Мы какие были, такие и есть, т. е. не радикалы и не социалисты, а просто *народовольцы*». «С начала до конца народовольство было направлением *немедленного действия, государственного переворота*... Вообще мы считаем революцию подготовленной и полагаем, что теперь остается подготовить только самый переворот, который и будет началом революции. Переворот государственный — это наше быть или не быть... Весь смысл нашего существования в захвате власти (нами, повторяю, или чернорабочей массой, это все равно), в перевороте, который может быть только *насильственным*, а стало быть требует силы, силы и еще силы». Что касается внутренней организации партии, то Тихомиров заявлял: «Централизация, дисциплина, выборы сверху... — вот основа нашей организации» \*.

Кравчинский много думал над ответом народовольцам. Начинал, зачеркивал, начинал заново. От той поры сохранилось очень мало его бу-

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 3, стр.143—151.

маг. Рукописей «Подпольной России» не сохранилось вовсе. Писем жены и друзей тоже почти не сохранилось. Он все уничтожал. А вот черновики и разные варианты ответа народовольцам сохранил. Очевидно, это было очень важно для него...

Это письмо, оказывается, имело непосредственное отношение и к его основной работе — к «Подпольной России».

Уже он получил копии ответов чернопередельцев и Лаврова, которые они послали в Россию.

Наконец, он написал свой ответ. Мелкими-мелкими буквами, на тонкой-тонкой бумаге — чтобы удобнее было переправить в Россию.

Многое в письме народовольцев вызвало негодование Сергея, со многим он был просто несогласен.

В самом начале он товарищески предупреждал своих друзей народовольцев о пагубности их теоретических заблуждений, «потому что истины до такой степени установившиеся, как *научность Маркса* или еще более — научность социализма (который вы называете „клеткой“), нельзя пошатнуть двумя-тремя фразами».

Резкий протест в нем вызвал якобинский дух письма. Он давно считал этот дух самым опасным для революционного движения. «В революции все жанры хороши, — говаривал он, — кроме якобинского и самодержавного» \*.

Но главные возражения с его стороны вызвал пункт о централизме в партии.

---

\* *Ольга Любатович*. Далекое и недавнее. М., Изд. политкаторжан, 1930, стр. 57.

«...Я не считаю себя в состоянии и даже вправе определить те границы, до которых может быть допущен в партионной организации этот элемент,— писал Кравчинский.— Здесь, как и во всех практических вопросах, приходится из двух зол выбирать меньшее. Централизация имеет одно и только одно достоинство в русской борьбе: она уменьшает шансы провалов. Но она имеет недостаток столь же огромный: она парализует силы, ослабляя частную инициативу. В России же до сих пор борьба возможна только партизанская, и так будет вплоть до перемены политических условий России. В партизанской же борьбе, где действуют не массой, а в одиночку и отдельными кучками,— все зависит от частной инициативы. Это правило не политическое, а чисто военное, я почерпнул его не из революционных книг, а просто из тактики и стратегии, которые когда-то изучал... Я думаю, что у нас есть только один путь обеспечить себе скорую победу — расширить самодеятельность местных и частных групп,— т. е. довести элемент централизации до абсолютного минимума, какой только допускают условия русской деятельности... Только *в возможно большем* развитии личной, местной и областной автономии вижу залог как будущего счастья человека и человечества, так и торжества революции».

С вопросом о централизме внутри партии для него был теснейшим образом связан вопрос о свободе мысли. Он взял под защиту Аксельрода, отстаивая его право высказывать свою точку зрения без согласования с Исполнительным комитетом. В черновике он писал: «Выра-

жая ему (Аксельроду.— *Е. Т.*) за это свое порицание, да еще в такой форме, вы, значит, претендуете на централизацию не только власти, но и мысли...»

«Претендуя на то, чтобы ваши мысли признавались не потому, что они хорошо доказаны, а потому, что они высказаны *вами*, вы никогда не добьетесь... их признания массой публики, как не добивались ни папы, ни короли, ни императоры... Но таким стремлением вы добьетесь другого: вы оскопите мысль своих собственных сторонников, т. е. свою собственную.— Возмущаясь всяким несогласием., вы разовьете тот дух рутины, косности мысли и даже придворного поддакивания, который убивает всякую жизнь, заменяя ее официальной мертвечиной...»

«Вы же... смотрите на всяких несогласных как на врагов, подрывающих... ваш авторитет.— По-моему, господа, это с вашей стороны не твердость, малодушие. Я вовсе не за христианское смирение. Прочь его! Революционер должен быть горд, как сатана, он должен верить в величие своей партии и своего собственного призвания: в этом тайна его мощи. Но такой страх перед всякой критикой, такая боязнь, что всякое слово, сказанное против вас, подорвет ваш авторитет — разве это признак мощи? Признак веры в себя и свою партию?»

Только наиболее полное развитие свободы критики, только наиболее широкое содействие в работе революционной мысли всех умственных сил партии может обеспечить широкое и блестящее будущее революционной партии...»

В окончательном тексте своего ответа он нашел другие аргументы в защиту права Аксель-

рода (и своего собственного, как мы увидим!) высказывать свою точку зрения:

«Разве кто-нибудь, разве вы сами, обсуждая такие явления, как Французская революция, Коммуна, руководствуетесь в их оценке взглядами участников? Кому какое дело, чего они *хотели*? Для истории важно то, что они действительно сделали. — Павел приложил к вам именно эту историческую философскую точку зрения... Он пользовался, стало быть, тем же неотъемлемым правом свободной мысли, каким пользуетесь и вы и все рассуждающие о каких бы то ни было общественных явлениях...

Я вынужден ополчаться с особенным усердием из-за этого вопроса, потому что он непосредственно касается меня лично. — Не далее как через две-три недели выйдет целая моя книга, написанная на итальянском языке для заграничной публики. (Вскоре будет, вероятно, французский перевод — тогда пошлю вам.) Правда, книга больше беллетристическая — портреты и очерки из революционной жизни — ввиду публики, для которой она предназначена. Но к ней я должен был предпослать довольно обширное теоретическое и историческое «предисловие» и приложить таковое же заключение, в которых высказываю свой взгляд на это движение, на его цели общие и временные, на террор, на политическую борьбу и т. д. — при этом я высказывал то, что думаю и как думаю, не руководствуясь ни вашими программами, ни объяснительными письмами, ни какими то ни было документами этого рода, — кроме, впрочем, одного: письма к Александру III, но не потому, что оно написано от имени Исполнительного комитета,

который точь-в-точь, как и всякий из нас, может ошибочно смотреть и неверно понимать смысл исторических явлений, хотя бы им самим совершенных, а потому что, по моему мнению, это письмо к Александру III действительно великий исторический документ, вполне верно уловивший и прекрасно передавший смысл современного момента в деятельности нашей партии. Это единственный документ, под которым подписываюсь обеими руками и на основании которого готов вступить в какие угодно соглашения».

Далее он подробно анализировал отношение европейского общества к революционному движению в России, утверждая, что необходимо познакомить Европу не с программами народо-вольцев, «а с современным моментом революционной борьбы. Нужно осветить его так, чтобы выяснить именно тождественность стремлений — временно, разумеется, — русских социалистов с стремлениями радикалов европейских революций. — Нужно, наконец, помирить Европу с кровавыми мерами русских революционеров, показать, с одной стороны, их неизбежность при русских условиях, с другой, выставив самих террористов такими, каковы они в действительности — т. е. не каннибалами, а людьми гуманными, высоконравственными, питающими глубокое отвращение ко всякому насилию, на которое только правительственные меры их вынуждают.

Вот как я смотрю на дело пропаганды среди заграничной публики на иностранных языках и что по мере сил постараюсь осуществить»...

«До сих пор, — констатировал Кравчинский, — этого сделано не было. До сих пор для

Европы „нигилизм“ остается чудищем „огромным, озорным и стозевным“...»

В конце письма он писал о своем согласии участвовать в работах по заграничному журналу, хотя все его симпатии «лежат на стороне непосредственной деятельности» на русской почве.

Лист бумаги кончился. Кравчинский подклеил к нему маленький кусочек такой же тонкой бумаги и приписал:

«А теперь жму крепко ваши руки и желаю вам одного: победы.

Ваш Сергей Кр.»

Это письмо Кравчинский послал на прочтение Лаврову и друзьям в Женеву.

Через несколько дней — 7 апреля 1882 года — Лев Дейч писал Кравчинскому: «Твое письмо к народолюбцам нам троим (Вере, Жоржу и мне), которые его читали, по правде сказать, не понравилось». Им оно показалось бессвязным, неубедительным, малоаргументированным. Они просили Сергея еще раз подумать над ним.

Одновременно Лев Дейч сообщал Кравчинскому, что получил письмо от Стефановича из тюрьмы — бог весть, как тому это удалось! (Однако это очень насторожило Сергея!) Стефанович посылал ему привет и пожелания быть «свободным» и желал успехов в его литературной работе.

Сам Дейч уже не стремился в Россию, очевидно, вняв уговорам Сергея.

Вероятно, Кравчинский частично переделал свой ответ народолюбцам, так как этот экземпляр, возвращенный ему Дейчем 14 апреля 1882 года, остался у него (я прочитала его и

I. A.

# RUSSIA SOTTERRANEA

PROFILI E BOZZETTI RIVOLUZIONARJ

DAL VERO

DI

STEPNIAK

già direttore di *Zemlja e Volja* (Terra e Libertà)

CON PREFAZIONE

DI

PIETRO LAVROFF



MILANO.

FRATELLI TREVES, EDITORI

1882.

Титульный лист первого издания «Подпольной России», вышедшего на итальянском языке в Милане в 1882 году.



черновики в архиве Кравчинского\* — ед. хр. 533, л. 1—17), и послал новый вариант.

23 апреля 1882 года Павел Аксельрод написал Кравчинскому из Цюриха, что полностью одобряет его окончательный вариант ответа народолюбцам. На письме Аксельрода была сверху карандашная приписка другим почерком: «А ваш ответ народолюбцам заслужил всеобщее одобрение. Отлично» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 182, л. 6—11).

И если уж я узнала в этой приписке характерный почерк Веры Засулич, то надо полагать, что Кравчинский также легко узнал его.

Итак, он высказал своим друзьям, что он думал о своей работе, о своих задачах, о своем пафосе — представить перед Европой русских революционеров «не каннибалами, а людьми гуманными, высоконравственными». (В этом ответе мы так же легко обнаруживаем полное единство стиля с «Подпольной Россией». Если в письме Кравчинский пишет: «Революционер должен быть горд, как сатана...», то из «Подпольной России» мы припоминаем: «Гордый, как сатана, возмущившийся против своего бога...»)

Книга скоро должна была уже выйти в свет. Еще в конце марта он прочитал корректуры. Книжка получалась довольно солидная — в 291 страницу!

И вот, наконец, «Подпольная Россия» появилась в свет.

---

\* Это письмо опубликовано не вполне точно в книге «Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сборник материалов и документов». Т. II, М.—Л., 1965, стр. 339—347.

В графе — «11 мая, четверг» — своей записной книжки-календаря на 1882 год Кравчинский отметил: «книжка вышла».

Ему казалось, что он работал над нею очень долго.

Но — вспомним: еще и полгода не прошло со дня 14 октября 1881 года, когда ему только предложили дать серию статей в газете. Еще и трех месяцев не прошло — с 18 февраля 1882 года, — когда Тревес договорился с ним об отдельном издании книги...

Итак, Кравчинский работал над книгой всего два с половиной — три месяца.

Тревес издал 1200 экземпляров «Подпольной России».

Так эта книга начала свою славную самостоятельную жизнь, полную треволений и приключений.

Разные люди читали ее и по-разному. Передовые люди Европы искали в «Подпольной России» правды о русской революции, обыватели чаяли найти в ней щекочущие нервы описания кровавых злодейств, молодежь черпала в ней вдохновение и мужество, жандармы пытались добыть в ней материал для обвинения.

В кругах русских революционеров «Подпольная Россия» вызвала ожесточенную полемику и в момент своего появления и неоднократно в последующие годы.

Я расскажу несколько эпизодов бурной жизни этой книги.

# КНИГА ИДЕТ ПО ЕВРОПЕ

*Мы во Франции недостаточно знакомы с этими воинствующими личностями, с этими бойцами за право и свободу, с этими ожесточенными противниками деспотизма, которые, сражаясь за свою угнетенную родину, сражаются за все человечество, которые, служа делу одной нации, трудятся для освобождения всех народов.*

Жюль Кларти о Герцене.

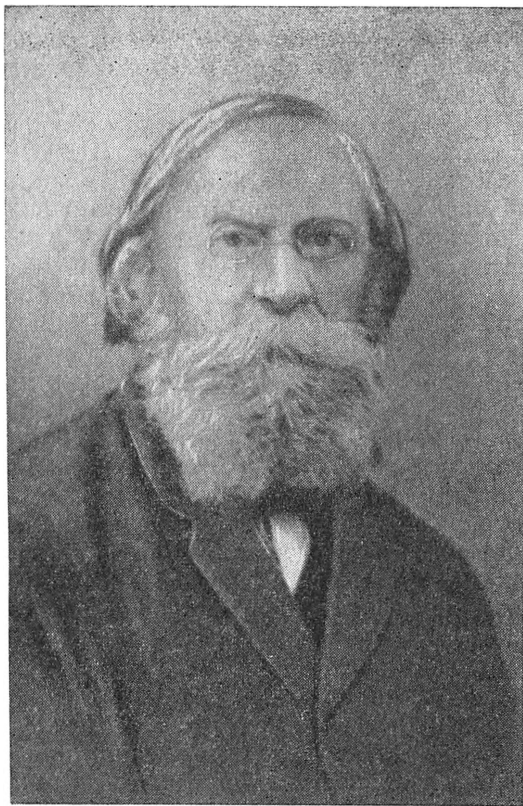
## ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ. П. Л. ЛАВРОВ

Первые отзывы от друзей Кравчинский получил еще до выхода книги. Это были отклики на отдельные очерки из газеты, которые Кравчинский посылал в Швейцарию, Англию, Францию, Австрию.

Очерк о Стефановиче, как уже нам известно, Лев Дейч и Вера Засулич не одобрили. Этот очерк имел длинную и сложную историю, о которой я расскажу потом.

Собственно говоря, настоящим первым отзывом на «Подпольную Россию» был отзыв П. Л. Лаврова. В своем предисловии, которое он написал по просьбе Кравчинского, он дает подробную характеристику и оценку книги.

Как я уже говорила, случилось так, что эта интереснейшая статья П. Л. Лаврова была на-



Петр Лаврович Лавров

печатана во всех изданиях «Подпольной России», кроме... русского. А отдельно, среди произведений самого Лаврова, она тоже никогда не печаталась.

Я нашла рукопись этого предисловия в бумагах архивного фонда Лаврова (ЦГАОР; ф. 1762, оп. 2, ед. хр. 111, л. 80—81; из писем Кравчинского было ясно, что он отправил эту рукопись обратно Лаврову).

Итак, теперь, в связи с «Подпольной Россией», русский читатель, наконец, может познакомиться с этой ценнейшей работой П. Л. Лаврова.

Помимо того, что в этом предисловии мы находим оценку работы Кравчинского, это предисловие дает нам характеристику литературы о России того времени. С этого предисловие и начинается:

«Социально-революционное движение в России не могло не обратить на себя внимания европейских читателей и, совершенно естественно, в журналах и в отдельных брошюрах должна была возникнуть на всех языках Европы довольно значительная по объему литература, которая частью имела в виду представить картину фактов, частью же пыталась заглянуть и глубже, в самый смысл движения, причем я оставляю в стороне еще одну отрасль этой литературы — род рассказов, в которых в беллетристической форме авторы воссоздавали людей и события, действуя прямо на воображение читателей.

Большая часть этой литературы не имеет ровно никакой цены уже потому, что авторы почти вовсе не знали фактов, заимствуя их из

третьих и четвертых рук, и не имели возможности проверить точность своих источников; еще менее они знали страну, в которой происходили события и данные о которой на языках Западной Европы довольно ограничены; наконец, они не имели ни малейшего понятия о типах личностей, игравших главные роли в этом движении. Поэтому из книг, писанных иностранцами о «нигилизме», весьма трудно указать такие, которые, хотя бы в некоторых частях, давали верное понятие о современном революционном движении в России, а также, которые совсем избегли бы довольно крупных ошибок и пробелов в этом отношении, я не знаю ни одной».

Как ни мрачна картина, рисуемая Лавровым, мы можем ему поверить: Лавров был образованнейшим человеком, владел многими языками, следил за всей социологической литературой и конечно, за всем, что касалось России.

«Но и труды — довольно немногочисленные, — продолжал Лавров, — посвященные русскими этому вопросу, и встречающиеся на иностранных языках, далеко не удовлетворительны, да и не могли быть вполне удовлетворительны по многим причинам.

Лица, живущие в России и находящиеся в необходимости, в виду личной безопасности, взвешивать всякое предложение и всякое слово, если брались за перо, то с полным сознанием, что им приходится умолчать о множестве фактов, о множестве сторон русской жизни, обусловившей эти факты, наконец приходится или скрыть свое личное знакомство с главными деятелями движения, или изобразить эти личности

вовсе не такими, какими они действительно были, но какими они обязательно *должны* были являться в литературном произведении верно-подданного русского царя, верноподданного, которому во всякое время, за всякое неосторожное слово могла грозить ссылка в места более или менее отдаленные. Прибавлю, что почти без всякого исключения в русской *легальной* литературе о «нигилистическом» движении писали лишь официальные или официозные враги этого движения, которые большею частью искренно видели в нем или злонамеренное преступление или совершенное безумие; люди, которые по самой своей обстановке или не видели сторон русской жизни, вызвавших это движение с фатальною необходимостью, или не понимали этих сторон, люди, которые знали участников движения лишь по донесениям следователей, по речам прокуроров и видели их разве только на суде. Поэтому очень мало значения можно приписать, как в фактическом отношении, так и в смысле понимания движения, всей отрасли литературы о «нигилизме», принадлежащей легальным русским нашего времени. В ней не встретится таких грубых промахов, которые делают иностранцы, пишущие о России, но есть несравненно более и *сознательных* умолчаний и *сознательных* искажений, хотя и полное непонимание внутренней жизни русских революционеров выказывается не раз весьма резко».

Ни один читатель не мог не поверить и этой части утверждений П. Л. Лаврова — кому же как не ему знать цену тому, что пишется в России, и для любого читателя естествен был вывод, к которому приходил Лавров:

«Можно было бы ожидать более от сторонников движения, частью находящихся в России, частью принадлежащих русской эмиграции...

Лишь человек, долго действовавший в России, участвовавший лично в различных фазах, через которые проходило русское революционное движение, близко знающий личности всех фазисов этого движения — фазисов очень различных, хотя и вмещающихся в промежуток времени, меньший одного десятилетия, — только такой человек, если бы он взялся изложить то, что он видел и сам пережил в эти годы, мог бы дать европейскому читателю достаточно верное понятие о формах и о смысле русского движения.

Таких личностей немного в нашей партии, особенно между теми, которые, при этом, обладают талантом яркого литературного изложения. Мне было в высшей степени приятно узнать, что один из этих немногих нашел возможным обратиться специально к европейским читателям с рядом живых очерков относительно лиц и фактов русского революционного движения. Мы все давно знаем „Степняка“ как товарища на разных путях, которыми шло русское движение.

Я помню, с каким восторгом читала и слушала молодежь русской типографии — революционного монастыря в северном Лондоне — некоторые горячие сцены его юных литературных работ. Другие могут рассказать разнообразные эпизоды его Одиссеи как пропагандиста среди русских крестьян в тот период, когда эта пропаганда привлекала большинство сил партии, независимо от разделения групп. Его видели и



между социалистами, которые в рядах народного восстания южных славян учились практике народной войны, готовя себя для будущего. Он был одним из главных деятелей русской революционной прессы, когда она, ослабев за границую, создала свои органы в самой столице царей. Между именами самых энергических деятелей на *всех* путях, которыми шло до сих пор русское революционное движение, русские революционеры всегда упоминают имя того, кто выступил теперь пред европейскою публикою под псевдонимом „Степняк“. Я говорю: пред „европейскою“, а не только пред италиянскою, потому что уверен, что интересные очерки людей и фактов, издаваемые в настоящую минуту „Степняком“ на италиянском языке, очень скоро найдут себе переводчиков на других западноевропейских языках.

Пора, наконец, чтобы пред глазами европейских читателей развернулась достоверная и живая картина этого движения...»

Лавров свои слова на ветер не бросал. И если уж он утверждал: «достоверная картина движения» — значит, это было так!

Теперь, когда мы познакомились с состоянием литературы о России того времени, «Подпольная Россия» еще более вырастает в наших глазах — ибо она была первой правдивой книгой о революционной борьбе в России.

Лавров счел уместным внести в предисловие элемент своих личных воспоминаний об авторе «Подпольной России». Это было правильно: личное отношение всегда подкупает и убеждает больше любых рассуждений и утверждений. Отметим, что Лавров показал себя широким и

достойным человеком. Вряд ли он забыл горячие и запальчивые (не всегда справедливые!) письма Кравчинского, написанные шесть лет тому назад. В этих письмах Кравчинский упрекал Лаврова в том, что он не понимает современного момента революционного движения. Но Лавров не мог не видеть, что запальчивость эта была рождена страстной заинтересованностью молодого революционера в борьбе за благо народа...

После краткой характеристики двух основных общественных элементов в России — бесправного народа и угнетающих его чиновников и буржуазии — Лавров так заканчивал свое предисловие:

«И между этими двумя общественными элементами, преемником традиций литературной и чисто политической оппозиции, преемником более новых беллетристов-народников и радикальных публицистов, преемником первых учителей социализма в России — Герцена и Чернышевского, выступает молодая группа деятелей, которая с семидесятых годов принуждает Европу обратить на нее внимание и удивляться ее самоотвержению и ее энергии. Сотнями идут эти дети господствующих классов в народ пропагандистами нового евангелия социализма, направленного против тех самых классов, из которых вышли эти апостолы. Каждый суд над ними выставляет лишь с большей яркостью их героизм и их историческое значение.

Правительство царя прибегает к самым крайним мерам преследований, подвергает почти всю Россию осадному положению, воздвигает виселицы за виселицами, почти насильно при-

нуждает вчерашних пропагандистов вести войну против него самыми решительными террористическими средствами. И никто не решится сказать, что победа на стороне правительства, когда именно его меры повели к гибели одного императора, к добровольному самозаклчению другого, к полному расстройству в настоящее время всего государственного организма России.

Но, может быть, знаменательнее другой факт этой борьбы: движение не продолжается и десяти лет еще; настоящая борьба с правительством началась менее чем пять лет тому, но важное изменение произошло в характере движения: большинство деятелей, являющихся пред судом, суть уже не только апостолы, принесшие в народ идеи и учение, выработанные *вне* его: это — люди из тех самых громадных масс народа, которые казались еще недавно недоступными политической и социалистической пропаганде и агитации. Недавно еще существует русская социально-революционная партия, но она успела уже завоевать себе место в истории. Читатели очерков „Степняка“ узнают лучше, чем прежде, какие элементы дали этой горсти молодых борцов силу сделаться в настоящее время историческими деятелями. Новые элементы из народа, к ним примкнувшие, упрочат их историческую роль на будущее время».

Так рекомендовал «Подпольную Россию» П. Л. Лавров.

В небольшом предисловии этом он прежде всего представил неведомого автора читающей публике.

Но, кроме того, он показал, на каком фоне появилась книга.

Он показал, чем отличается от всех авторов книг о России автор этой книги.

Он предсказал этой книге большого читателя, читателя разных стран.

Мажорным тоном своего предисловия он как бы вводил читателя в тональность самой книги.

Кравчинский тотчас перевел предисловие на итальянский, и, как он сообщал потом Лаврову, «издатель остался очень доволен всесторонностью Вашего предисловия, так что даже сам ничего от себя прибавлять не думает, что обыкновенно делает, потому что он не только издатель, но и очень видный литератор, редактор одной из распространеннейших газет» (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 31 об.). Теперь же, 19 марта 1882 года, он писал Лаврову: «Изменений никаких не нужно. Я только позволил себе два незначительные, по-моему, и чрезвычайно маленькие видоизменения, которые, если Вы найдете важными — можно восстановить — по крайней мере одно, потому что за другое, в интересах партии я бы стоял.

Первое относится к

„И между этими общественными элементами, преемником традиций литературной и чисто политической оппозиции, преемником более новых беллетристов-народников и радикальных публицистов, преемниками первых учителей социализма в России — Герцена и т. д.“ — я пропустил „беллетристов-народников“ — это место не существенно, конечно, особенно для иностранцев, но я думаю, что лучше его выпустить, потому что на первом плане между ними не Златовратский, а как действительно очень талантливый Глеб Успенский, а неужели мы пре-

емники такого слюнтяя? Но это пустяки, конечно.

Потом, в самом конце я слово „горсть молодых борцов“ заменил более общим выражением. На италийском слово *giovanì* звучит очень уж юно. А разве в нашей партии одни юнцы? Это могло бы дать повод к „превратным толкованиям“ и существенного значения не имеет.

Затем я опустил некоторые выражения, относящиеся ко мне лично, за которые очень Вам благодарен, но которые скромность мешала мне переводить. За это, конечно, никто на меня в претензии не будет.

Что же касается всего остального, то никаких изменений не делал» (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 76—76 об.).

Поправки, которые внес Кравчинский в предисловие Лаврова, очень любопытны. Да, последователями Глеба Успенского ни Кравчинский, ни его товарищи себя не считали...

Очевидно, Лавров на эту поправку согласился, так как упоминания Глеба Успенского в печатном тексте нет. Насчет «горсти молодых борцов» тоже, вероятно, согласился.

А насчет комплиментов по адресу Кравчинского, которые он не стал переводить по скромности, разыгралась целая баталия...

Как только книжка вышла, Кравчинский купил 30 экземпляров и стал рассылать друзьям. Один из самых первых экземпляров он послал, конечно, Лаврову и написал ему (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 32—33):

«Дорогой Петр Лаврович!

Посылаю Вам свою книжицу, которая, наконец, вышла. Буду очень благодарен, если напи-

жете, как она Вам понравилась, и вообще за всякое замечание, хотя бы самое резкое. Ваши же будут мне, разумеется, особенно полезны. Так как надеюсь на французское издание, то буду даже иметь возможность всегда воспользоваться ими.

Что касается предисловия, то по Вашему письму я восстановил то, что выбросил было (на мой счет), остались выпущенными только несколько строк, а именно относительно участия в восстании горных славян и это вот почему: для перевода я списал Ваше письмо (т. е. предисловие.— *Е. Т.*), чтобы не затрудняться чтением. Но это место, как очень неразборчивое и при том такое, которое я вперед думал пропустить, я не списал вовсе. Так что когда Ваше письмо пришло, у меня уже не было с чего переводить. А на память я, конечно, не мог.

В одном месте я позволил себе незначительное изменение на основании Ваших же слов, что я имел право изменить только то, где была фактическая неверность,— это, где Вы говорите, что оный Степняк принимал участие во всех фазах революционного движения. К моему огорчению, я в последней, царубийственной, не принимал ровно никакого участия. А между тем, она первостепенна, и потому о ней прежде всего подумает читатель.

Затем никаких перемен я не делал, и легкие, чисто редакционные поправки в слогe сделаны не мною, а самим Тревесом.

До свидания, дорогой Петр Лаврович. Надеюсь, Вы на меня не в обиде.

Ваш Сергей».

Оказалось, Лавров все же обиделся.

Через некоторое время после выхода книги, когда товарищи Кравчинского пытались устроить переводы ее на другие языки, Павел Аксельрод, связанный тогда с немецкими социал-демократами, вел переговоры об этом с Эд. Бернштейном и сообщил о них Кравчинскому. Письмо Аксельрода не сохранилось, а Кравчинский так отвечал ему:

«...Ах, да! Предисловия Лавровского, по-моему, трогать невозможно. (Но ты напиши, что Бернштейн советовал изменить. Это мне так — любопытно. Кое-какие весьма незначительные изменения я сделал бы в тексте и приложил бы к биографии Перовской ее письмо к матери из брошюры.) Из-за каждого слова приходилось с ним дебаты вести. Я хотел, например, выбросить на XII странице несколько не совсем умеренных комплиментов моей особе, как совершенно излишних, потому что дело идет не о моей особе, а о моей книжке, и, кажется, уж это я имел право сделать больше, чем что другое. Но он обиделся и сказал, что я превысил свои права» \*.

О том же самом он писал и Анне Эпштейн: «А Лавровское заявление (о том, что Кравчинский был редактором «Земли и Воли». — *Е. Т.*) я даже выбросил было совсем, не ради конспираций, а просто потому, что неприятно: точно хвастаешь. Но когда я уведомил его об этом — он обиделся — ведь всякий свой вздор он считает перлом создания — и заявил, что я превысил свои права и т. д. Ну, вот я и перевел, мне что!

---

\* Из архива П. Б. Аксельрода. Т. II. Берлин, 1924, стр. 76.

К тому же издатель тоже просил» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 165, л. 73).

Можно себе представить, что чувствовал Кравчинский, когда друзья упрекали его за «хвастовство» в предисловии.

Например, Анна Эпштейн так писала Сергею:

«...Какая обида, что П. Л. (т. е. Петр Лаврович — Лавров.— *Е. Т.*) так нахвастал (шутливое «нахвастал».— *Е. Т.*) в своем предисловии, просто беда. Пусть бы читатель сам увидел из правдивости сказанного, что это пишет близкий человек. И зачем это ты сам тоже не мог обойтись без того, чтоб редакторство не сквозило из статьи о тайной типографии. Как тебе не стыдно было назвать себя редактором, я не понимаю. Вспомни, что ты редакторствовал-то всего без году неделю. Ах ты, фастун противный, так и хочется мне тебя за это поколотить.

И зачем было показывать издателю Лавровское хвастовство. Не мог разве в переделанном виде представить. Сознайся, что это тебе самому было лестно и что это очень стыдно.

Не сердись, миленький, за ругачки... Ты ведь такой умный, но когда дело доходит до какого-нибудь хвастовства, ты, право, глупее каждого дурака.— Если б ты знал, как это может злить» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 512, л. 31—31 об.).

Да, действительно, Кравчинский оказался между двух огней: Лавров сердился на него за то, что он убирал комплименты, друзья ругали за то, что оставил комплименты...

И уже позднее, очевидно, в конце 1882 года, Кравчинский снова подвергся нападкам по этому же поводу, так как он писал жене:



«На это я возражал, что в таком случае, прежде чем начать читать мою книжку, он (читатель) должен бы ознакомиться с фактами, которые рассказываются,— что сводится к тому, что для того, чтоб поймать соловья, ему нужно на хвост соли посыпать.— Анка стала спорить и твердить, что я, конечно, все сумею доказать... Но Рот (общая их приятельница.— *Е. Т.*) нашла, что я прав» (ф. 1158, ед. хр. 757, л. 83 об.).

Вероятно, эта часть предисловия все же тревожила Кравчинского, так как он делился своими сомнениями со многими (как мы увидим).

Во всяком случае, ясно, что европейский читатель получил в предисловии Лаврова очень важные сведения.

Кравчинский же получил в этом предисловии первое ободряющее слово.

В авторском вступлении к своей следующей книге — «Россия под властью царей», вышедшей в Лондоне в 1885 году, Степняк отмечал, что предисловие Лаврова к «Подпольной России» способствовало ее успеху.

Важно отметить, что этим предисловием как бы началась дискуссия о правдивости книги — «достоверная ли картина движения?» — которая горячо развернулась в среде друзей и соратников Кравчинского. Мы еще остановимся на этой дискуссии.

## ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ. ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ

Один из первых экземпляров «Подпольной России» Кравчинский отослал известному французскому ученому и общественному деятелю Элизе Реклю.

Член Интернационала, солдат Парижской Коммуны, Реклю после разгрома Коммуны был приговорен к ссылке в Кайенну, но благодаря протесту виднейших ученых мира во главе с Чарлзом Дарвином этот приговор был отменен, и Реклю был осужден на пожизненное изгнание из Франции и жил в Швейцарии.

Элизе Реклю дружил со многими русскими. Наиболее тесная дружба связывала его с П. А. Кропоткиным, который много лет сотрудничал в фундаментальной работе Э. Реклю — его знаменитой серии географических исследований «Земля и люди», — составляя для нее разделы, посвященные географии России.

Элизе Реклю постоянно помогал русским политическим эмигрантам — и защищал их от преследований властей, и добывал для них работу, и просто ссужал деньгами, иногда буквально спасая им жизнь. Вера Засулич переписывала для него материалы и составляла статьи. В течение нескольких лет с Реклю сотрудничал Леонид Шишко, друг Кравчинского еще по артиллерийскому училищу и по кружку чайковцев, также вынужденный бежать из России.

Об искреннем расположении Элизе Реклю к Кравчинскому свидетельствуют его письма, сохранившиеся в архиве.

Вероятно, Кравчинский послал Реклю «Подпольную Россию» числа 12 или 13 мая 1882 года и одновременно послал письмо со всякими вопросами и сомнениями, и уже 19 мая Реклю писал ему (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 400, л. 1—2) в ответ из местечка под Женевой — Кларана, где он тогда жил:

Мой дорогой друг.

Я еще не кончил читать ваше прекрасное произведение, потому что, как вы знаете, у меня совсем нет времени, но того, что я прочитал, совершенно достаточно, чтобы я поощрил вас от всего сердца.

Да, книга очень интересная; да, вы очень хорошо сделали, что ее выпустили, так как она сообщает нам много нового и помогает нам избавиться от многих ошибочных представлений. Да, вы должны постараться, чтобы она была переведена на французский, на немецкий и на английский.

Читая Ваше произведение, я спрашивал себя, не являетесь ли вы настоящим историком? Не могли бы вы вместо простых очерков дать нам историю революционной России от Каракозова до Перовской, например? Если вы это делаете — вы сделаете очень полезную вещь.

Это не значит, что я нахожу ваше произведение лишенным ошибок.

Они имеются. Иногда слишком много поэзии в словах и в самом существе описываемого.

Кроме того, название *La Russia sotterranea* кажется мне неудачным. Понятно, когда говорят подземный Рим, подразумевая город катакомб, но к какому-нибудь Бердичеву это название не подходит. Я думаю, вы сможете изменить это название во французском издании».

Затем Реклю указывал на некоторые исторические неточности в книге и заканчивал письмо, очевидно, отвечая на вопрос Кравчинского:

«И, наконец, я прочитал часть предисловия Лаврова, ту, которая касается вас лично. Я думаю о вас так же хорошо, как там говорится, и еще гораздо лучше.

Вот, мой друг. Мне остается поблагодарить вас от всего сердца.

Преданный вам  
Элизе Реклю».

Похвала и одобрение Реклю стоили многого. Это был строгий и принципиальный человек, неспособный на пустые любезности. Он высоко оценил книгу и сказал, как высоко оценивает ее автора.

Вероятно, будучи в Швейцарии, Кравчинский снова встречался с Реклю и снова разговор был о «Подпольной России», и Реклю снова всячески поддерживал книгу, потому что Кравчинский так писал П. Аксельроду (очевидно, в конце 1882 года, в том же письме, где шла речь и о предисловии Лаврова): «Мне очень советовал насчет Америки Реклю. Говорит, что там наверное блистательно пойдет. А насчет Франции он говорил, что *ручается* за 10—15 тысяч экземпляров, *если только перевод будет хорош, и сам вызвался* поэтому проредактировать его» \*.

Мы не знаем, выполнил ли Реклю свое обещание, но в архиве Кравчинского сохранилось письмо Реклю от 15 января 1885 года, в котором он очень дружески расспрашивает о переводах «Подпольной России», а 29 ноября 1885 года поздравляет его от всего сердца с успехом

---

\* Из архива П. Б. Аксельрода. Т. II. Берлин, 1924, стр. 77.

его книг — «Подпольной России» (на французском языке) и его новой книги — «Россия под властью царей» (на английском языке), которую он читает с большим удовольствием (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 400, л. 3,4).

Так передовая Европа дружески приветствовала книгу Кравчинского.

## **ДИСКУССИЯ, ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ**

Однако Кравчинский получал не только одобрительные отзывы. О резких возражениях его друзей по поводу очерка о Стефановиче еще в газете я уже говорила, а подробнее истории этого очерка и споров вокруг него я коснусь позже.

Но и очерк о Вере Засулич вызвал возражения... самой Засулич.

Чтобы разобраться в этой единственной в своем роде дискуссии между автором и описанным им человеком, надо рассказать историю отношений Кравчинского и Засулич.

Как вы помните, в январе 1878 года, освобожденный из итальянской тюрьмы, избежав грозившей ему смертной казни, Кравчинский очутился в Женеве. Одним из первых известий, пришедших с родины, было сообщение о покупке привлекавшейся еще по нечаевскому делу Веры Засулич на петербургского градоначальника генерала Трепова. Она хотела отомстить за издевательство над политическим заключенным, которого Трепов приказал выпороть за то, что тот не поклонился ему.

Это покушение, совершенное девушкой, произвело необыкновенное впечатление в России, всколыхнув все общество.

Чтобы понять, почему это было так, — надо постараться представить себе то время. Вскоре после крестьянской реформы 1861 года были почти целиком отменены телесные наказания, они допускались лишь в исключительных случаях. Приказ Трепова наказать розгами политического заключенного был вопиющим нарушением закона. Известие об этой экзекуции, произведенной 13 июля 1877 года, и о последовавшей затем дикой расправе с другими арестантами, содержащимися в Доме предварительного заключения в Петербурге, вызвало в передовой части русского общества «смешанное чувство обиды, стыда, гнева и сознания, что этот факт неотмщенным остаться не должен», — вспоминала Р. М. Плеханова, бывшая тогда курсисткой. Пока виновник произвола не был наказан — никто не мог себя чувствовать гарантированным от такого же произвола. Однако проходили дни и месяцы, а русское общество молчало.

Выстрел Веры Засулич 24 января 1878 года (она пришла к Трепову на прием под видом просительницы) — снял тяжкое бремя унижения с русской молодежи. «Наша благодарность и поклонение перед этой героической девушкой были беспредельны. Мы считали ее счастливейшим человеком в мире, и каждый из нас желал бы быть на ее месте», — пишет Р. Плеханова \*.

---

\* Р. М. Плеханова. Страница из воспоминаний о В. И. Засулич. — В кн.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 3, стр. 83.

Немудрено, что, узнав о выстреле Веры Засулич, впечатлительный Кравчинский пришел в совершенный восторг.

В журнале «Община», выпускаемом русскими эмигрантами в Женеве, в № 2, за февраль, появилась большая статья за полной подписью — «Сергей Кравчинский» (впервые он подписался своим настоящим именем) о процессе 193-х с восторженной характеристикой речи Ипполита Мышкина на этом процессе. Заканчивая эту статью, Кравчинский говорит о могучем образе «великой русской героини, имевшей мужество поразить всесильного временщика в его собственных золоченых палатах среди толпы его же клеветов», обещая написать о ней подробнее, так как это, по его мнению, не единичное случайное явление, а «знамение времени, показывающее, каким ветром повеяло на Руси».

В отряде русских революционеров не один Кравчинский воспринял выстрел Веры Засулич как «знамение времени». В Петербурге землевольцы выпустили две прокламации по этому поводу.

Первая, появившаяся еще до суда, называлась «Покушение на жизнь Трепова» и была написана другом Кравчинского — Д. Клеменцем. Рассказав обстоятельства дела и причины, его вызвавшие, Клеменц писал о Засулич, обращаясь к самой героине: «Среди холопства молчащего, задавленного общества ты одна решилась собственною непривычною к насилию рукою обуздать безнаказанный произвол, перед которым все преклонялись. Ты не отступила перед страшным подвигом лишить жизни челове-

ка, что для тебя было гораздо труднее, чем пожертвовать собственной жизнью, и доказала, что чувство чести и понятие о праве и святости человеческой личности еще не вымерли в русском обществе. Ты доказала, что тираны не всемогущи, что гнет рабства и азиатского деспотизма не истребили еще у нас всех людей, способных жертвовать собой на защиту поруганных прав ближнего. Страшен и велик твой подвиг, и немногие могут вместить его, но слава русскому народу, что в нем наплась хоть ты одна, способная на такой поступок...

Прими же от нас дань нашего благоговейного удивления, русская девушка с душою героя, а потомство причислит твое имя к числу немногих светлых имен мучеников за свободу и права человека»\*.

Вторая прокламация — под названием «К русскому обществу» — была выпущена уже после суда над Засулич и принадлежала перу молодого землевольца Г. В. Плеханова, возглавившего за полтора года до этого первую рабочую демонстрацию в России. Подчеркивая историческое значение исхода судебного процесса, состоявшегося 31 марта 1878 года, когда, вопреки желанию и приказанию правительства, Вера Засулич была оправдана судом присяжных, Г. В. Плеханов именуется этот день «прологом той великой исторической драмы, которая называется судом народа над правительством». Он говорит о «разрыве русского общества с правительством», он говорит, что долгое молча-

---

\* *Ш. М. Левин*. Дмитрий Александрович Клеменц. М., Изд. политкаторжан, 1929, стр. 59—60.



ние русского общества — слишком долгое! — кончилось.

«Мы приглашаем учащуюся молодежь, приглашаем все партии, кроме партии кнута и палок, соединиться в одном общем и дружном натиске для приобретения своих издавна попираемых человеческих прав, для защиты своих свободомыслящих сограждан от адских казематов центральной тюрьмы и Петропавловской крепости, для защиты русского народа от поголовного презрения, для защиты русской науки и мысли от жалкой и бесславной смерти под рукою цензора-палача...» \*

В номере 3—4 журнала «Община», вышедшем в конце апреля 1878 года, Кравчинский опять, за полной своею подписью, продолжает прославлять подвиг Веры Засулич. Он также подчеркивает особый смысл исхода судебного процесса над нею. В оправдании Засулич Кравчинский также видит явное доказательство полного антагонизма всего русского общества и правительства. Этот день — 31 марта 1878 года — ему кажется днем крушения самодержавия. «Русская монархия... поражена на смерть». Тем более величественным в его воображении предстает подвиг Веры Засулич, и он прославляет ее со всем пылом, называя ее «гордостью человечества»:

«Героиня! Для тебя пишу я эти строки!

Весь мир гремит славою твоего подвига. Отдаленное потомство, разбив свои оковы, свобод-

---

\* Г. В. Плеханов. Соч. Т. XXIV. М.—Л., Госиздат, 1927, стр. 321—322. Конечно, и прокламация написанная Клеменцем, и прокламация, написанная Плехановым, были выпущены землевольцами анонимно.

ное, счастливое, — тебе воспоеет свою хвалебную песнь, потому что в ряду тех подвигов, которыми куплено будет его счастье, твой — один из величайших.

Бессмертная в истории, ты будешь бессмертна и в поэзии, потому что не одного великого поэта вдохновит твой чудный образ!»

Кравчинский с завистью обращался к друзьям Засулич:

«Вам выпало на долю счастье знать ее — расскажите же нам о ней, какое у нее лицо, и голос, и глаза, как она одевается, как говорит, что любит?»

Кравчинский говорит о чувствах людей, узнающих о подвиге: «люди боятся героизма: он слишком болезненно заставляет их сознавать собственную пошлость...»

Он обращается к героине от лица революционной России:

«Ты, к радости победы прибавившая нам счастье сознания, что из среды нас могут подниматься люди, подобные тебе...»

А в заключение он обращается к своим соратникам, напоминает им о Парижской Коммуне, призывает их объединить усилия:

«Мы — накануне великих событий. Соединимся же, и будущее — наше!»

Очевидно, что прокламации Клеменца и Плеханова и статья Кравчинского написаны с одинаковой целью и имеют одинаковый характер возвания. Они имеют много общего и в композиции, и в анализе и оценке событий, и в форме обращения к самой героине и т. п.

Нам неизвестно точно, читал ли Кравчинский прокламации землевольцев, но по всей ве-

роятности читал, так как между петербургскими землевольцами и редакцией журнала «Община» была тесная связь, а Клеменц был одним из редакторов «Общины».

Показательно, что, развивая мысли листовок землевольцев, Кравчинский находит особо приподнятые, особо восторженные слова.

Если Плеханов видит в оправдании Засулич — «п р о л о г», то для Кравчинского 31 марта 1878 года — день к р у ш е н и я самодержавия: «Русская монархия... поражена на смерть», — пипет он. «Русское самодержавие убито; 31 марта было последним днем его существования».

Если Плеханов строит свой призыв на обширных и продолжительных периодах, выражающих, если можно так сказать, «метод убеждения», — мол, подумайте, решите: «Мы приглашаем учащуюся молодежь» и т. п., — то призыв Кравчинского рассчитан на немедленное эмоциональное воздействие.

Концовка прокламации Плеханова имеет слишком, я бы сказала, историко-описательный характер: «Везде и всегда, у всех народов, когда-либо восстававших за свободу, имена первых павших борцов становились святынею, а смерть их не оставалась безнаказанною...»

А призыв Кравчинского, которым заканчивается его «статья», звучит настоящим лозунгом: «Соединимся же, и будущее — наше!»

По эмоциональному настрою стиль листовки Клеменца ближе к стилю Кравчинского, в нем также звучит восторженность: «...потомство причислит твое имя к числу немногих светлых имен» и т. д., но Кравчинский эту же мысль вы-

ражает кресчендо: «Отдаленное потомство, разбив свои оковы, свободное, счастливое,— тебе воспоеет свою хвалебную песнь» и т. д.

Хотя во всех этих трех документах много общего, в «хвалебной песне» Кравчинского есть одна характерная нота, которой нет ни у Клеменца, ни у Плеханова,— это внимание к самой личности Засулич. Своим страстным интересом — «какое у нее лицо, и голос, и глаза?» — Кравчинский как бы снимает героиню с котурн, на которые он сам ее поставил, и говорит нам: она — живой человек. Эта нота в высшей степени характеризует самого Кравчинского. Эта нота и создала весь тон «профиля» Веры Засулич в «Подпольной России»...

В «хвалебной песне» Кравчинского есть и еще один чрезвычайно важный мотив, который на первый взгляд кажется также поэтическим преувеличением.

«Весь мир гремит славою твоего подвига», — пишет Кравчинский. Но, оказывается, здесь как раз преувеличения и не было.

В самой России эффект оправдания Веры Засулич вызвал необыкновенный энтузиазм. Даже Лев Толстой, отнюдь не одобрявший действий революционных народников, писал в эти дни: «Засуличевское дело не шутка... Это первые члены из ряда, еще нам непонятного; но это дело важное... Это похоже на предвозвестие революции» \*.

В. Г. Короленко, посвятивший этому событию главу в «Истории моего современника»,

---

\* Л. Н. Толстой. Письмо к Н. Н. Страхову от 8 апреля 1878 г.— Полн. собр. соч. Т. 62, стр. 411.

подробно описывает всеобщее волнение тех дней\*.

Тогдашний председатель Петербургского окружного суда, который и вел процесс Веры Засулич, знаменитый юрист и общественный деятель А. Ф. Кони написал об этом деле интереснейшую книгу, где передает все сложное переплетение событий, связанных с ним\*\*.

Печать всего мира бурно откликнулась на это дело. Действительно, в один день имя Веры Засулич получило всемирную известность!

И. С. Тургенев писал М. М. Стасюлевичу в Петербург из Франции: «История с Засулич взбудоражила решительно всю Европу»\*\*\*.

«Дело это произвело глубокое впечатление по всей Европе,— свидетельствует П. А. Кропоткин в своих «Записках революционера».— Я был в Париже, когда получилось известие об оправдательном приговоре. Мне пришлось в этот день зайти по делам в несколько редакций. Всюду редакторы дышали энтузиазмом и писали энергичные передовые статьи, прославлявшие девушку... Что же касается европейских рабочих, то самоотверженность Веры Засулич произвела на них чрезвычайно глубокое впечатление»\*\*\*\*.

---

\* В. Г. Короленко. История моего современника. Кн. 2, гл. XII.

\*\* А. Ф. Кони. Воспоминания о деле Веры Засулич, М.—Л., «Academia», 1933.

\*\*\* И. С. Тургенев. Письмо М. М. Стасюлевичу от 30/18 апреля 1878 г.— В кн.: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Т. III. СПб., 1912, стр. 151.

\*\*\*\* П. А. Кропоткин. Записки революционера. М.—Л., «Academia», 1933, стр. 270.



Вера Ивановна Засулич

Интересно отметить, что это впечатление вовсе не ограничилось газетными и журнальными статьями.

В Италии, например, был поставлен спектакль, посвященный процессу Веры Засулич\*.

А в Англии тогда еще только начинающий Оскар Уайльд написал пьесу из жизни русских нигилистов (совершенно фантастическую и нелепую, надо сказать), назвав ее по имени главной героини — «Вера», в честь Веры Засулич.

Этот всеобщий энтузиазм еще более воодушевил Кравчинского, который поспешил на родину, чтобы самому принять участие в наступлении «великих событий».

В начале мая — он уже в России. Первая, кого он увидел в Петербурге, — была Вера Засулич, скрывавшаяся в квартире одного из их общих друзей. А скрывалась она потому, что царь отменил оправдательный приговор суда и распорядился арестовать ее.

Много лет спустя Вера Засулич вспоминала о Кравчинском в те дни: «Приехал он весь сияющий, в самом восторженном настроении. Сквозь призму иностранных газет и собственно-

---

\* Об этом спектакле упоминает А. Ф. Кони в указ. кн.: «Мне рассказывали, что в Неаполе, на сцене одного из маленьких популярных театров шла драма, названия которой я не помню, взятая из процесса Засулич, обильно приправленная романтическими подробностями. В последнем действии было представлено здание суда и волнующаяся толпа, ожидающая решения присяжных. На балкон этого здания выходил я... в красной мантии и седых локонах и, объявив, что Засулич невинна, благосклонно раскланивался на крики толпы: „eviva”» (стр. 299—300).

го воображения мое оправдание и последовавшие затем демонстрации показались ему началом революции» \*.

Для Кравчинского всегда важнее всего были люди. Теперь он сам увидел, «какое у нее лицо, и голос, и глаза, как она одевается, как говорит, что любит»

Сразу после приезда он пишет прокламацию «По поводу нового приговора», о которой я уже рассказывала. И в этой прокламации он опять пишет о том, какая разительная пропасть между правительством и обществом обнаружилась в день оправдания Засулич.

«В то время, когда все русское общество, упоенное восторгом, принимало в свои недра свою великую дочь, в то время, когда не было сердца, которое не трепетало бы за ее судьбу; когда все, без различия партий, звания, возрастов рвались хоть что-нибудь сделать для нее; когда в самых аристократических домах, когда в стенах одного из дворцов ей предлагали убежище и помощь, в это время царь именным указом предписывает разыскать и снова посадить только что оправданную и не стыдится даже назначить цену за ее голову!»

К словам: «о д н о г о и з д в о р ц о в» Кравчинский делает примечание: «Не считаем возможным назвать его. За справедливость ручаемся: слышали это от самой Засулич» \*\*.

---

\* *Вера Засулич*. Д. А. Клеменц.— «Наша заря», 1914, № 2.— Цит. по сб.: *Вера Засулич*. Воспоминания. М., Изд. политкаторжан, 1931, стр. 76.

\*\* *С. М. Кравчинский*. По поводу нового приговора. Печ. в Вольной Русской Типографии. (Петербург), 1878, стр. 3. Вероятно, эту прокламацию, выпущенную



Через несколько дней после приезда Кравчинского в Петербург Вера Засулич уехала из России в Швейцарию. Встретились снова они уже в Швейцарии в самом конце 1878 года, когда Кравчинский тоже вынужден был уехать из России. И с тех пор их связывала самая тесная, самая искренняя дружба.

Эта дружба не мешала им жестоко спорить. Но если Вера Ивановна позволяла себе не раз быть очень резкой, беспощадно резкой с Сергеем, то он всегда был ее рыцарем... История их дружбы и споров, когда они расходились во взглядах на методы борьбы и на людей, история их сложных взаимоотношений может стать темой большого и увлекательного романа.

Хотя Кравчинский не вошел в группу «Освобождение труда», созданную по инициативе Плеханова и Засулич, он — единственный из всех русских эмигрантов — всячески их поддерживал и помогал им. Это через Кравчинского Плеханов и Засулич поддерживали связь с Энгельсом и дочерью Маркса Элеонорой. Это Вера Засулич первая перевела на русский язык несколько глав из романа Кравчинского «Андрей Кожухов», написанного им по-английски, и опубликовала статью, посвященную анализу этого романа. Это она, после гибели Кравчинского, провела неразлучно первые самые страш-

---

брошюрой, имел в виду В. Г. Короленко, когда писал в «Истории моего современника» — кн. II, гл. XV: «Но вскоре после ее (Веры Засулич.— *Е. Т.*) дела появилась брошюра Кравчинского, в которой последний восторженно приветствовал ее подвиг и звал к его продолжению».

ные дни с Фанни, это она написала о нем статьи для русской и немецкой эмигрантской печати и содействовала изданию русского перевода «Андрея Кожухова» и других его произведений в Женеве...

Но это все было еще далеко впереди, а сейчас, в мае 1882 года, Кравчинский один из первых экземпляров «Подпольной России» послал Вере Засулич в Швейцарию. Она читала его статьи (если их можно назвать статьями!) о ней в «Общине», она читала его прокламацию «По поводу нового приговора», она читала и написанное им воззвание к французам в связи с арестом в 1880 году во Франции скрывшегося из России Льва Гартмана. В этом воззвании, опубликованном во французских газетах, Кравчинский давал характеристику царскому правительству и опять вспоминал «знаменитое» дело Веры Засулич. «Как молния осветило оно на мгновение тьму, покрывающую Россию, и показало удивленному миру, что на одной стороне стоит правительство, черный кабинет, камарилья с III-м отделением и царем, — на другой вся Россия...» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 66, л. 2 об.)

Как отнесется она к своему «профилю» в «Подпольной России»?

Я уже приводила строки из его письма к Анне Эпштейн, посланного в самом начале января 1882 года: «Вера у меня в полтора печатных листа получилась, и я ее портретом очень доволен».

Но будет ли довольна она сама?..

В «профиле» Веры Засулич, как видит читатель, ознакомившийся с «Подпольной Рос-

сией», Кравчинский действительно дает только ее портрет и не рассказывает, даже не упоминает о самом поступке своей героини, полагая его всем известным.

Рассказывать о других поступках Засулич, о ее революционной деятельности он не может: ведь она собирается снова в Россию, и любая деталь может дать жандармам материал против нее.

Не касается он совершенно и жизненного пути своей героини, ее семьи, детских лет, воспитания.

Только портрет, только характеристика. Только ответ на вопросы, поставленные им еще в «Общине»: «какое у нее лицо, и глаза, и голос, как она одевается, как говорит, что любит?»

Вместо «могучего образа» «великой русской героини», «чудного образа юной мстительницы» Кравчинский дает точное, простое и правдивое ее описание.

Вначале он говорит о ее всемирной известности и о ее скромности. О том, что она всячески избегала всех поклонников и любопытных, и потому о ней стали складываться легенды.

А затем дает ее реалистический, я бы даже сказала, беспощадно-реалистический портрет:

«Это женщина сильная, крепкая, и хотя ростом она не выше среднего, на первый взгляд кажется высокою. Ее симпатичное, умное лицо нельзя назвать красивым. Хороши только большие, прекрасно очерченные серые глаза, обрамленные длинными ресницами, темнеющие, когда она возбуждена. Задумчивые и несколько грустные в обыкновенном состоянии, эти глаза

зажигаются каким-то лучистым светом, когда она одушевляется, что бывает нередко, и мечут искры, когда она шутит — что случается очень часто. Малейшее движение души отражается в этих выразительных глазах. Остальные черты лица не представляют ничего необыкновенного: продолговатый нос, тонкие губы, большая голова, обрамленная почти черными волосами.

Собою она решительно не занимается. Она слишком рассеянна, слишком погружена в свои думы, чтобы заботиться об этих мелочах, вовсе ее не интересующих».

Далее он подробно описывает ее крикливый голос. То есть буквально: «лицо, и голос, и глаза»...

Но наибольший интерес, конечно, представляет портрет ее характера, который дает Кравчинский. С пронзительной точностью рисует он черты Веры Засулич — ее застенчивость, ее вечную неудовлетворенность собой, ее богатую и напряженную внутреннюю жизнь, ее «специально русскую болезнь, состоящую в терзании собственной души, в погружении в ее сокровенные глубины, в безжалостном анатомировании ее, в выискивании пятнышек и недостатков, часто воображаемых и всегда преувеличенных.

Отсюда, — продолжает Кравчинский, — происходят те припадки черной хандры, которые овладевают ею от времени до времени, как царем Саулом, и держат ее в своей власти дни за днями; и ничто не может разогнать их». Только в природе она ищет и находит успокоение: «Не раз по целым ночам, часто до солнечного восхода, ей случалось бродить одной-одиношенькой

по диким горам Швейцарии или по берегам ее огромных озер».

Кравчинский особо останавливается на оригинальности и трезвости ее ума, говорит о «редкой силе мысли», о «редкой особенности всегда думать самостоятельно».

Высоко оценивает Кравчинский «свойственный ей почти безошибочный нравственный инстинкт, способность угадать в вопросах самых сложных и запутанных, что можно, чего нельзя, что хорошо, что дурно».

Такой очерк о себе должна была прочитать Засулич в книге своего друга.

Как-то она к нему отнесется?

Кравчинский слишком хорошо знал строптивый характер Веры Засулич, знал и ее скромность, почти болезненную.

Одновременно с посылкой книги он писал ей:

«Милая Верочка! Посылаю вам два экземпляра своей книжки — один вам, другой Ане\* — которая, наконец, вышла. Напишите, пожалуйста, как понравилась. Ведь вы читаете по-итальянски — хоть со словарем. Уж потратьте денек времени — буду вам очень благодарен за всякое замечание, хотя бы самое резкое.

Затем должен еще попросить вас сказать откровенно, очень ли вы сердитесь на меня за ваш «профиль» или не очень. Что вы будете сердиться на некоторые места, это я знаю заранее. Но, увы, мне нужно было либо отказаться от своего труда совсем, либо помириться с

---

\* Аня — А. М. Эпштейн.

этой печальной неизбежностью. Но отказаться от него я не хотел: единственная часть моей „Подпольной России“, которую я ценю, это именно „профили“, потому что я все-таки более других знаю этих людей, и мне хотелось хоть что-нибудь сделать, чтобы их образы не совсем утонули в бурлящей пучине русской политической жизни. Ведь у нас можно последовательно воскликнуть:

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tout passe, | (Все проходит, |
| Tout fuit:  | Все убегает:   |
| L'Espace    | Пространство   |
| Efface      | Стирает        |
| Le bruit    | Шум),          |

как говорит Виктор Гюго в одной из ориенталей. Почему я думаю, что без меня они могли бы „утонуть“? — О, не от самомнения, даю вам слово. И совершенно искренне говорю, что я вовсе не удовлетворен своей работой. А просто потому, что так сложились обстоятельства. Из действовавших никто, кроме меня, не пишет, не имеет возможности писать и погибнет, по всей вероятности, раньше, чем получит эту возможность. Но, взявшись раз за эту работу, чтобы придать ей хоть какое-нибудь значение, я должен был быть вполне правдивым. Я, конечно, останавливался пред тем, раскрытие чего было бы прямой неделикатностью — и в этом ни вы, ни кто другой упрекнуть меня не можете. Но я не мог останавливаться пред тем, что просто было бы не совсем приятно как изображаемым, так и их друзьям — с какой бы то ни было стороны. Я не говорил того, что на

некоторых бросало бы невыгодную тень,— но только в смысле общепринятом, а не исключительном. Точно так и относительно pudeur (стыдливость.— *Е. Т.*) — я допускал ее только в общем смысле, но не больше. Что сверх того, то от лукавого, как в тенях, так и в свете. Только придерживаясь такого критерия, можно было нарисовать людей, возможно похожих на живых, а не на куклы или суздальские иконы.

Ну-с,— так напишите же, пожалуйста, насколько мне это удалось вообще и относительно вашей характеристики, в частности.

Ваш С.»

Далее он приписал просьбу к Плеханову, если он выучился по-итальянски, также сообщить свои замечания. Все замечания он мог бы учесть, готовя французское издание, которое можно будет дополнить, так как это он «сжимал до последней возможности» \*.

Он с нетерпением ждал ответа.

Вскоре Кравчинский получил письмо Веры Засулич от 21 мая 1882 года. Она писала ему о полемике с Драгомановым, об издании народо-вольческого журнала и т. п. А дальше сообщала, что книжку сразу у нее забрала одна приятельница и поэтому «книжку вашу я еще чуть просмотрела, а прочла только о себе... Насколько можно судить, по заглавиям больше, книжка очень интересна и, наверное, будет иметь большой успех».

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 1, стр. 227—228.

Затем она переходила к тому, что больше всего волновало Сергея.

«А моя профиль? Будь я цензором, которому предоставлена власть над вашей книжкой, наверное, вымарала бы ее всю, исключая (одно слово я не разобрала, — может быть, «разве» или «раздел»? — *Е. Т.*) двух первых страниц. Особенно неприятное впечатление произвело, конечно, место о хандре и „царе Сауле“, а что я отродясь одна по горам ночью не бегала, так это могу вас заверить чем угодно.

Но это неприятное впечатление, конечно, не имеет никакого соотношения с достоинствами или недостатками очерка. Опиши меня какой-нибудь гениальнейший писатель так верно, что верней и быть нельзя, мне было бы еще неприятнее, и чем полнее было бы изображение, тем хуже. Этого, я думаю, нельзя даже отнести целиком насчет моей оригинальности; это, мне кажется, чувство довольно распространенное, и на нем основан обычай печатать воспоминания о приятелях только после их смерти.

Это похоже вот на какое ощущение, которое вам, может быть, легче будет вообразить. Представьте себе, или лучше попросите представить Фаничку, что в каком-нибудь многолюдном обществе какой-нибудь ее приятель начинает рассказывать при ней разные про нее вещи, не позорные ничуть, но такие, которые она всем про себя рассказывать не станет. Ну, что бы она сделала? Сперва подергала бы приятеля за рукав, сказала бы „врет он все“, а если бы тот продолжал, надулась бы, ушла, а дома не ручаюсь, что не заплакала бы и не бросила бы приятелю в голову стакана или блюдечка.



Вместо Фанички возьмите кого угодно, и с  $\frac{9}{10}$  женщин и  $\frac{7}{10}$  мужчин будет то же самое, т. е. мужчины-то не заплачут, но разозлятся».

Подписалась она как обычно: «Ваша Вера» — и добавила, что «Жорж по-итальянски не читает». (Это письмо хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, л. 67—68.)

Собственно говоря, Кравчинский именно это и предвидел, как мы уже узнали из его письма к Вере Засулич. Но все же он очень расстроился и немедленно отвечал своей приятельнице длинным письмом.

«Милая Верочка! Не могу выразить вам, до какой степени мне было горько, что я вас так огорчил. Только что получил ваше письмо и не могу удержаться, чтобы не ответить тотчас же, хотя и очень некогда. Горько мне не потому, чтобы я сознал, что поступил дурно, а просто потому, что вижу, что я вас очень сильно огорчил, гораздо больше даже, чем думал, ну, и, конечно, мне это очень неприятно. Хотя, если б вы мне то же, что сказали теперь, написали раньше, — не знаю, вычеркнул ли бы я эти все страницы кроме двух первых, или нет. Скорее нет — говорю вам это совершенно откровенно и думаю, — уж воля ваша, — что я не поступил бы неделикатно.

Конечно, против факта неудовольствия никакими возражениями тут не пособить. Я хочу только сказать вам, что вы совершенно неправы, когда утверждаете, что „это чувство довольно распространенное, и на нем основан обычай печатать воспоминания о приятелях только пос-

ле их смерти". Помилуйте, — во-первых, я не хочу вовсе читать печальной надежды быть свидетелем вашей смерти. Это раз. Значит, мне предстояло на выбор, либо писать теперь, либо не писать вовсе. Во-вторых, вы абсолютно ошибаетесь в самой сущности вашего утверждения, что воспоминания о людях пишутся только по их смерти. Господь с вами! Не только о Гарибальди целая масса воспоминаний, мемуаров и рассказов есть, но даже о таком, сравнительно, очень мизерном, как Гамбетта, Золя, Додэ и пр., целая литература существует, где описываются не только их наружность и внешние привычки, но и характер, душа со всеми ее тонкими чертами, которые удается уловить писателю\*. Прочтите хоть де-Амичиса (был в отрывках в „Неделе“). Да, вероятно, и у вашего Поля Алексиса были странички насчет Золя, которые вы наверное бы „вычеркнули”. И это неизбежно».

Здесь Кравчинский упоминает французского писателя Поля Алексиса, книгу которого о Золя В. Засулич переводила на русский язык.

«Публика,— писал далее Кравчинский, отстаивая свою точку зрения, свое право писать так, как он считает нужным,— слишком интересуется знаменитыми людьми, чтобы ждать для получения точных сведений о них — их смерти. Есть, правда, другая грань, полагаемая писателю\*\*, пишущему о живом человеке: он не может касаться, не совершая неделикатно-

---

\* В тексте: «читателю», но это явная описка Кравчинского или ошибка публикатора.

\*\* То же самое.

сти, его интимной личной жизни, т. е. его любви, например, и пр. Вот об этом, действительно, только после смерти человека писать можно, и вот это-то вы и смешали с первым. Подобной же неделикатности я абсолютно нигде не совершил.

Кстати, во избежание чего-нибудь похожего на таковую я, между прочим, и заставил вас бегать по горам „в одиночку“; не мог же я сказать — с Дмитрием или Женькой или вообще „амико“ (друг — по-итальянски. — *Е. Т.*), так же точно, как не мог сказать, что ввалился к Анке, когда она в постели лежала, и сел к ней на кровать и пр., потому что это могло бы истолковаться иностранцами совсем не по-русски — или потребовало бы обширных пояснений о характере ваших отношений к своему семейству, что было бы тоже совершенно излишне и не деликатно. Я же лишь издали, как только возможно глуше коснулся этого предмета. Пройти же абсолютным молчанием психику было невозможно, потому что иначе была бы неясна нравственная физиономия известного *общественного* деятеля, сделавшегося историческим.

Итак, мне предстояло либо написать так, как я написал, либо не писать вовсе. Последнего я не хотел сделать просто из сострадания к истории. Во все не думаю, что я изобразил вас целиком — говорю совершенно чистосердечно. Мне даже было это просто невозможно, потому что, в сущности, я вас вовсе не так близко знаю. Но согласитесь, что одну сторону вашего характера я угадал. Что ж, пусть другие дополнят его со временем. Во всяком случае, хоть часть-то, наверное, будет.

Не знаю, удалось ли мне заставить вас пере-  
ложить хоть немного гнев на милость? Не ду-  
маю, хотя надеюсь, что с течением времени это  
случится, потому что, повторяю, никаких неде-  
ликатностей я не разоблачал и держался без-  
условно в тех рамках, которых держатся все  
пишущие о живых людях» \*.

(Далее Кравчинский пишет о полемике с  
Драгомановым.)

Очевидно, Кравчинский в чем-то убедил За-  
сулич, и в своем ответном письме она продолжа-  
ет спор уже только по инерции, без всякой за-  
пальчивости.

Она начинала, как всегда, с обращения —  
«Милый Сергей» и после сообщения о всяких  
текущих делах вновь возвращалась к спору:  
«Я писала, что „воспоминания о *приятелях* пи-  
шутся после их смерти“, и вы не доказали про-  
тивного, а „корреспонденты“, конечно, пишут  
при жизни, но ведь с ними знаменитости и го-  
ворят с исключительной целью дать им мате-  
риал для писанья. Амичис — корреспондент, ну  
и к книжке Алексиса Золя написал предисло-  
вие, послесловие и приложение, вероятно, сам ее  
редактировал, а може и заказал для опроверже-  
ния легенд, выставляющих его чуть не людое-  
дом, к чему Алексис беспрестанно возвращает-  
ся. И романы о живых людях пишутся, но  
больше из бульварных, за правдой не гоняю-  
щихся, про которых известно всякому читате-  
лю, что врут. А про талантливых романистов  
что-то не слышно, чтобы они своих приятелей

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 1, стр.  
228—230.

под настоящими именами выводили. Конечно, может и быть исключения где-нибудь, но *исключения* же, да и то, вероятно, если бы навести следствие, то по большей части оказалось бы, что произошли эти исключения с дозволения изображаемых лиц.

Я это все, впрочем, не со злости говорю, а так только для констатирования истины». (Письмо без даты, но очевидно — июнь 1882 года. ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, л. 71—71 об.)

А вскоре, прочитав, вероятно, всю книжку целиком, Вера Засулич писала в Лондон Н. Чайковскому: «Книжка Сергея прелестная, хотя у меня против нее зуб за мой „профиль“ с „хандрой как у царя Саула“ и т. п. ерундой» (ЦГАОР).

Действительно, оказалось, что проблема «изобразить живых», да еще так, чтобы они были «живыми», была не легкой. Но Кравчинский смело шел навстречу трудному.

Ведь еще в самом начале работы он предвидел такие возражения и отвечал на них сам: «Мне немножко совестно живого человека расписывать. Но я думаю, что это предрассудок». И приводил примеры описаний в европейской печати популярных в то время политического деятеля Гамбетты и писателя Додэ.

Преодолев этот «предрассудок», дав в своей книге живые образы живых людей, Кравчинский явился настоящим смельчаком, подлинным новатором в русской литературе. У нас теперь очерки (да и романы) о живых людях — самый обычный жанр, в котором дано множест-

во прекрасных образцов, но восемьдесят лет тому назад таких произведений не было.

Впрочем, подробнее об этом мы будем говорить в заключении, а пока надо только сказать, что именно этот «предрассудок», о котором пишет Кравчинский, и вызвал на него яростный перекрестный огонь современников.

Стремление к правдивости в описании живых людей дорого ему стоило.

Для соблюдения подлинной правдивости Кравчинский шел на отступления от фактической правдивости. Он это убедительно доказывает в письме к Вере Засулич, когда объясняет ей, например, почему он не мог написать, что она бродила по горам вдвоем. Для соблюдения высшей правды он выходил из плана мелочной правды. Ибо он видел правду в реализме, а не в натурализме.

Чтобы закончить историю этой удивительной дискуссии, приведу еще несколько фактов.

Очевидно, Кравчинский искал у друзей поддержки и интересовался их оценкой очерка о Засулич.

Так, осенью 1882 года Кравчинский писал жене: «В Женеве перевидал всех... Перевел им (Анне Эпштейн и ее подруге Рот.— *Е. Т.*) обеим „Веру“, которой они остались очень довольны и ничего обидного не нашли. Даже очень удивились» (ЦГАЛИ, ф. 1158, ед. хр. 757, л. 83 об.).

Несмотря на возражения Веры Засулич, Кравчинский ничего не изменил в ее «профиле» и в последующих переводах «Подпольной России» на другие языки. Так же, без изменений перевел он очерк о ней и на русский язык для издания 1893 года.

Вера Засулич отметила это. В письме к украинскому писателю и общественному деятелю М. Павлыку она писала вскоре после выхода «Подпольной России» на русском языке: «Биография в книжке Степняка написана 13 лет тому назад, и он так и оставил, как тогда написал, да и тогда пылкое воображение моего друга Сергея в ней кое-что преувеличивало, в том числе и беготню по ночам» \*.

Никак не могла она примириться с этой «беготней»...

Надо сказать, что Вера Засулич спорила с Кравчинским не только по поводу своего «профиля». Пожалуй, даже более резкие споры вызвал очерк о Стефановиче.

Но, протестуя против отдельных частных, она не могла не видеть достоинств всей книги в целом. Она понимала, что вовсе не эти частности, а общий слишком восторженный тон книги вызовет наибольшие нарекания критиков. Именно об этом Вера Засулич считала своим долгом написать в статье о Кравчинском, дав объективную оценку его творчества, как бы заканчивая дискуссию со своим другом после его смерти и признавая его правоту:

«Мы говорили о способности Кравчинского к идеализации. Но мы вовсе не хотим этим сказать, чтобы он видел в восхищавших его людях совсем не существовавшие в них качества. Он обладал, наоборот, своеобразным, но чрезвычайно тонким и быстрым чутьем, указывавшим ему верные черты, которые он затем лишь

---

\* В. И. Засулич. Письма М. И. Павлыку.— «Исторический архив», 1957, № 4, стр. 216.

освещал таким ярким светом своего художнического восхищения, что они казались преображенными и отчасти преувеличенными. Он был убежден при этом, что он-то именно и видит своих современников в том настоящем свете, в каком они появятся в истории, а от других самая близость людей и событий скрывает их настоящие размеры»\*.

И действительно, мы можем сказать, что, давая в своей книге реалистические портреты русских революционеров, Кравчинский всегда соблюдал высшую правду — подлинную поэзию революции.

И действительно, в истории, в нашем представлении эти люди остались именно такими, какими он их описал. Именно Кравчинский не дал им «утонуть», как он говорил.

Мы видим, что в полемике с Засулич, в этой дискуссии, единственной в своем роде, — прав был Кравчинский.

Решая вопрос — писать либо теперь, либо никогда, писать либо так, либо не писать вообще, — он избрал правильное решение...

## ПРОФИЛЬ СТЕФАНОВИЧА

Самые большие споры среди друзей, как я уже говорила, вызвал очерк о Стефановиче.

В полемических битвах вокруг этого очерка Кравчинский в полной мере познал трудности

---

\* В. И. Засулич. Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк). — «Работник», Женева, 1896, № 1 и 2. — Цит. по кн.: В. И. Засулич. Статьи о русской литературе. М., 1960, стр. 129.



писания о «живых». С самого начала Кравчинского стали атаковать с разных сторон и предъявлять ему противоположные претензии.

Сразу, только написав этот очерк, Кравчинский, еще до публикации в «Пунголо», перевел его на русский язык и вместе с первой, вступительной «корреспонденцией» послал в Женеву. Оттуда сразу пришел неодобрительный отзыв. Через несколько дней Кравчинский писал жене об этом: «Из Анкиного письма я знаю, что Вере с Ж. (т. е. Жоржем — Г. В. Плехановым, а может быть, Женькой — Львом Дейчем. — *Е. Т.*) они не понравились» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 64).

Особенно не понравился им очерк именно о Стефановиче. Я уже приводила письмо Кравчинского самой Анне Эпштейн по этому поводу: «Они хотели бы, чтобы я его расписал всего на золоте... как византийские маляры святых угодников малевали...»

Впоследствии я расскажу об отзыве Драгоманова о «Подпольной России», а теперь только укажу, что он писал о ней так: «до скандалу богомазна», причем особенно темпераментно нападал именно на очерк о Стефановиче... только по диаметрально противоположной причине! — за излишнюю и недопустимую идеализацию.

И обе стороны выражали свое неудовольствие весьма энергично. (Мы вскоре увидим, что и третья «сторона» — сам Стефанович тоже был крайне недоволен появлением очерка о себе!)

Но мне кажется, что дело было не в достоинствах или недостатках очерка Кравчинского

о Стефановиче, а в противоречивости фигуры самого Стефановича...

Яков Стефанович, очевидно, был незаурядной личностью. Кравчинский называет его «натурой оригинальной и сложной». Отмечая ум Стефановича, трезвость его суждений, Кравчинский главное внимание сосредоточивает на характеристике Стефановича как «человека дела», организатора, практического деятеля.

Но в этой характеристике Кравчинский в первую очередь останавливается на склонности Стефановича к компромиссам: «Он не из тех, которые неуклонно идут к цели... Нет, он предпочитает действовать скрытно, он уступает, когда это нужно, но с тем, чтоб при первом удобном случае наверстать свое». И тут же приводит мнение других: «Некоторые считают Стефановича коварным» — и полемизирует с этим мнением: «Это едва ли справедливо. Он хитрит только в „политике“. В личных отношениях с друзьями он прост, искрен и прямодушен». И для доказательства рассказывает о тесных дружеских отношениях Стефановича с Л. (во всех изданиях «Подпольной России» автор ставил только инициалы: «Л.» или «Л. Д.», но во французском издании 1885 года раскрыл полностью это имя: «Л. Дейч») и о трогательной его привязанности к отцу.

Судя по всем мемуарам и документам — Стефанович вовсе не был самым близким другом Кравчинского, во многом они были противоположны друг другу, но я уже говорила, что Стефанович был самым последним, кого Кравчинский проводил из Швейцарии в Россию...

Кравчинский слишком хорошо помнил свой восторг и ликование по поводу удачного побега Стефановича, Дейча и Бохановского из тюрьмы (описание этого побега тоже вошло в «Подпольную Россию») — и описание этой радости составляет самые яркие страницы «профиля» Стефановича.

Кравчинский дружил с Верой Засулич и со Львом Дейчем, которые были самыми близкими друзьями Стефановича и пристрастно видели в нем одни достоинства.

Все это не могло не наложить отпечатка особой лирической теплоты на очерк о Стефановиче.

И, заканчивая вступление к разделу «Революционные профили», Кравчинский писал: «После вступления, немного длинного, позвольте мне представить вам моего первого соратника и моего дражайшего друга — Якова Стефановича». Кравчинский так и написал: «amico carissimo» — по-итальянски — «дражайший, милейший друг».

Между газетной публикацией очерка о Стефановиче в декабре 1881 года и выходом отдельного издания «Подпольной России» в мае 1882 года произошло множество событий, о которых я уже рассказывала: арест Стефановича 6 февраля 1882 года в Москве, сборы Дейча в Россию для устройства его побега, письмо Кравчинского, в котором он убеждал Дейча не ехать...

Но в эти дни произошло еще одно трагическое событие в судьбе Стефановича, о котором не знали ни Дейч, ни Кравчинский... Мы узнаем о нем впоследствии.

Регулярная переписка, которую вели Дейч и Стефанович, из-за ареста последнего оборвалась. Но вот в начале марта Дейч снова получил от Стефановича сначала телеграмму, а вслед за ней большое письмо, датированное 15 февраля 1882 года (т. е. десять дней спустя после ареста), из Москвы, из тюрьмы. В этом письме Стефанович также заклинал Дейча не ехать в Россию, так как сейчас Дейч ничем не может ему помочь, просил писать ему, давал адрес, выражал надежду на встречу... В этом письме, между прочим, Стефанович писал о Кравчинском: «С-ю (т. е. Сергею.— *Е. Т.*) скажи, чтобы не спешил тоже: аресты в Москве довольно большие, хоть и неважные, но во всяком разе не надо ему спешить» \* и в конце этого письма передавал ему и Фанни привет.

Через месяц Л. Дейч получил второе письмо от Стефановича от 19—20 марта 1882 года уже из Петербурга. В этом письме Стефанович опять выражает свои симпатии к Кравчинскому: «Хотел бы я видеть Сергея здоровым и свободным. Передай ему это. В своем последнем письме ко мне ты пишешь, между прочим, что он очень занят литературными работами. Желаю ему всякого успеха, и если он подольше потрудится над своей книгой, то, наверно, напишет хорошую вещь. Спешность работы — это был всегдашний его недостаток. Я здесь, в тюрьме, перечитывая некоторые из переведенных им романов, заметил, что обработка слога весьма не совершенна» \*\*.

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 3, стр. 181.

\*\* Там же, стр. 185.

Л. Дейч тотчас же сообщил об этом Кравчинскому в Италию. (Письмо от 7 апреля 1882 года, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 268, л. 4.)

Получив это известие, Кравчинский был потрясен. Он не знал примеров такой — легальной — переписки из тюрьмы. Он писал тогда (март или апрель 1882 года) Вере Засулич: «...теперь хочу по поводу Дмитра поговорить, знаете, факт позволения отправить телеграмму и письмо Женке — в высшей степени необыкновенный — наводит меня на предположение еще более необыкновенное: они, вероятно, ведут с ним „переговоры“...» \*

А переписка, действительно, была очень странной: подследственный свободно переписывается не только с отцом, но и пишет за границу своему другу длинные подробные письма, посылает ему свои фотографии, и больше того — получает от него письма, деньги, подарки, фотографии...

Нам эта переписка интересна вдвойне: во-первых, это характеристика героя очерка, во-вторых, из нее мы узнаем об отношении Стефановича к Кравчинскому.

О Кравчинском Стефанович упоминает только мимоходом, но и эти упоминания показательны.

В письме от 10 мая 1882 года Стефанович добродушно пишет о «незлобivosti и терпимости» Сергея и интересуется его «сочинением» \*\*. Вскоре Стефанович из письма брата узнал

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 1, стр. 221—222.

\*\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 4, стр. 156.

об этом «сочинении» и 24 ноября 1882 года выразил свое недовольство Дейчу: «В „Русском Вестнике“... помещена рецензия истории революционного движения на итальянском языке „Степняка“, где между прочим, описывает и меня. Тоже не во-время: не успеет человек переступить порог тюрьмы, как о нем уже выражаются: „он отошел в область истории“. Покорно благодарю за честь; но если бы с нею не так спешили, то в этой „области“, быть может, было бы не *так* тесно»\*.

Однако все же это «сочинение» весьма интересует Стефановича, так как в январе 1883 года он спрашивает Дейча: «Переведена ли книжка Степняка на французский язык?»\*\*

Сейчас мы лишены возможности восстановить все события в точной исторической перспективе, но переписка Стефановича с Дейчем (беспрецедентная, как я говорила), а может быть, и еще какие-либо факты не у одного Кравчинского вызывали удивление и недоумение. В эмигрантской среде появились слухи о неблагоприятном поведении Стефановича в тюрьме. Некоторые прямо говорили о его предательстве. Кравчинский решительно отказывался верить этому.

В те дни (письмо не датировано, вероятно, — конец 1882 года) Кравчинский писал Драгоманову, который высказывал свои подозрения о предательской роли Стефановича: «Что же до Дмитра, то я глубочайшим образом убежден, что все, что о нем пущено, — абсолютный

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 4, стр. 180.

\*\*Там же, стр. 192.

вздор.., это очень славный и очень преданный делу человек. Во всяком случае, — это один из тех, для кого легче умереть, чем сделаться предателем...» (ЦГАЛИ, ф. 1065, оп. 4, ед. хр. 5, л. 158, 155 об.).

Разговоры о предательстве Стефановича особенно усилились после суда над ним — на так называемом «процессе 17-ти» народовольцев, по которому судились такие видные деятели «Народной Воли», как М. Ф. Грачевский, А. В. Прибылев, А. П. Корба и другие. Процесс этот проходил в Петербурге с 28 марта по 5 апреля 1883 года. Речь Стефановича (так же, как, надо сказать, и речи других подсудимых) вызвала смятение и негодование в кругах русской революционной эмиграции. Она была образцом постоянного политиканства Стефановича: считая, что он действует для блага революции, Стефанович прикинулся сторонником просвещенного монархизма, но его игра была сразу же разгадана царским правительством и осуждена русскими революционерами.

Как и предвидел Кравчинский, Стефанович был приговорен к каторге, на восемь лет. Его отправили на Кару.

Кравчинский, как и большинство товарищей, был возмущен речью Стефановича на процессе, но по-прежнему отказывался верить всем слухам о его предательстве.

Надо сказать, что Кравчинский всегда отказывался верить подобным слухам относительно своих товарищей — так он любил этих людей, так доверял им, так мерил их своей меркой... (Для чистых людей всякое предательство непостижимо. Так, например, известно, что

Софья Перовская не поверила сообщению, что Рысаков стал выдавать.) А когда уже получал неоспоримые доказательства, как, например, в случае с его соучастником по делу об убийстве шефа жандармов Мезенцева — Адрианом Михайловым, который, как это доподлинно стало известно, назвал на следствии имя Кравчинского, — Кравчинский отказывался осуждать их. Он не презирал, а жалел их, видя в них лишь жертвы царизма...

...Сохраняя во всех переводах «Подпольной России» очерк о Стефановиче без изменений, Кравчинский только изменил определение своих дружеских отношений к нему. Вместо итальянского «amico carissimo» в английском издании 1883 года стоит уже просто «dear friend» — «дорогой друг», а во французском 1885 года еще сдержаннее: «mon ami», то есть — «мой друг».

Но в 1893 году, когда появилась реальная возможность издать «Подпольную Россию» на русском языке (я потом расскажу об этом) и Степяк — теперь его псевдоним стал его именем — сам стал переводить ее на русский язык, он сразу, после вступления, прямо переходит к очерку о Стефановиче, вовсе убрав те строки, где говорил о нем как о своем друге... И в самом очерке он считал необходимым сделать кое-какие изменения и прежде всего дать оценку речи Стефановича, дать оценку его постоянному стремлению к извилистым путям.

Для русского издания «Подпольной России» Степяк написал новую страницу, которой не было ни в одном из предыдущих изданий. Интонация ее резко отличалась от всего очерка,



да и от всей книги в целом. Это было категорическое осуждение методов Стефановича в его революционной деятельности. Кравчинский не жалеет гневных эпитетов для характеристики недопустимого с его точки зрения поведения Стефановича.

«Он задумал план, поразительный по соединению смелости с бесстыдством, грандиозности и практичности — с полной беспринципностью. План этот состоял в том, чтоб поднять народ на весь существующий порядок и на самого царя — во имя царя же. Стефанович сочинил и сам себе вручил тайный царский манифест, призывающий народ к всеобщему восстанию, ввиду полного бессилия самого царя и его полного порабощения дворянством и чиновниками. Это была старая „самозванщина“, облеченная в новую канцелярскую форму...

Принцип стефановичевского плана — обман народа, хотя бы для его же блага, и поддержание гнусной царской легенды, хотя бы с революционными целями, — был безусловно отвергнут партией и не имел ни одного подражателя. Но энергия имеет непреодолимую обаятельность, в особенности для русских, среди которых людей с энергией так мало...

Как бы то ни было, одно время Стефанович был едва ли не самым популярным человеком в партии. Его речь на суде была большой неожиданностью как для его друзей, так и для посторонних. Страсть ходить обходами сыграла с ним плохую шутку. Проведя мужиков для блага революции в чигиринском деле, он на процессе пожелал провести правительство для блага свободы, напустив на себя личи-

ну монархизма. Он осекся и был одурачен правительством, и последняя вещь оказалась ему горше первых».

Слухи об изменениях в «профиле» Стефановича дошли до его друзей в Швейцарии, и Вера Засулич прислала Сергею отчаянное письмо в защиту Стефановича.

Это письмо сохранилось в архивном фонде Дома Плеханова в Ленинграде. Вероятно, его вместе с другими бумагами прислала вдова Степняка Льву Дейчу еще в начале двадцатых годов. Лев Дейч тогда опубликовал почти всю переписку Веры Засулич со Степняком.

Это письмо осталось неопубликованным, а ответ Степняка на него Дейч тогда же опубликовал.

Вот что писала Вера Засулич Степняку (без даты, в июле 1893 года) из Швейцарии в Лондон:

«Дорогой Сергей,

уже с неделю я все собираюсь писать и все откладываю. Не хочется писать. Предмет такой тяжелый для меня, и чувствую, что бесполезно будет мое письмо. По легкомыслию Вы не можете делать то, что делаете. Вы, конечно, обдумывали и решили, что имеете право так поступить, как поступаете. Мне не убедить Вас, что не имеете права. Но, с другой стороны, будет мучить совесть, что не попробовала, да потом я ведь знаю, что у меня явится злое чувство и так или иначе при случае оно скажется, так не лучше ли говорить заранее, когда книга не вышла, когда если бы Вы захотели, могли бы и вычеркнуть из нее биографию Дмитра с добавленным к ней осуждением его. Вычеркивание было бы

тоже молчаливым осуждением. Но на такое Вы имели полное право, а на другое, по-моему, нет. Ведь обвинение в биографии „беспристрастным историком“, это не просто *обвинительная речь* — это носит характер *приговора*, а пожалуй, даже — исполнение приговора — наказание. А „гласный“ суд хотя бы по русским судебным уставам объявляет не голый факт проступка или преступления, а все обстоятельства дела, всю ту атмосферу, в которой жил подсудимый. А станете ли Вы изображать всю ту ужасную атмосферу конца Народной Воли, когда десятки народовольцев разыгрывали шпионов перед Судейкиным.. Чтобы приговор был справедлив, портрет верен, надо изобразить все это, а то ведь человек обыкновенного роста будет пигмеем среди гигантов и наоборот он будет одного роста с [нрзб] шел в то время, на суде он говорил сговорившись с остальными — это была общая постановка процесса... Я убеждена, что с общего же согласия он вел и свои несчастные переговоры с Судейкиным и Плеве... Убедилась я в этом из письма Ж. (Женьки, т. е. Л. Дейча. — *Е. Т.*). Он был очень зол на Дмитро, не отвечал ему ни на одно письмо. Мы с ним много раз обсуждали между собой его поведение и находили, что одно могло бы быть ему оправдание: если он действовал с общего согласия. После встречи с Дмитро Ж[енька] написал мне: „я убедился в невинности Дм.“...»

После этого, казавшегося ей особенно убедительным, аргумента (Дейч встретился со Стефановичем на каторге на Каре, куда он также попал после ареста), Вера Засулич опять и опять уверяет Степняка в невинности Степа-

новича... (Дом Плеханова, Отдел рукописей, АД 5. 341. 7.).

Действительно, после убийства Александра II царское правительство в лице высших своих представителей, начиная от министра внутренних дел, пыталось вести переговоры с революционерами — и заключенными и эмигрантами. Страх перед новыми покушениями был так велик, что на некоторое время буквально парализовал царя и двор. Всемогущий самодержец всея Руси сидел пленником в своем собственном дворце. Коронация откладывалась так долго, что это приобретало уже характер международного скандала. Правительство пыталось обещанием всяческих поблажек революционерам, амнистий купить хотя бы недолгое перемирие, чтобы ничто не помешало коронации.

Ольга Любатович сообщила Кравчинскому, что подобное предложение сделали ей директор Департамента полиции Плеве и прокурор Добржинский во время следствия, когда она сидела в тюрьме. Она написала об этом (ей разрешили письмо к родным; она адресовалась к Кравчинскому как к «брату») между строк с помощью крупинки химического вещества, которую ей удалось сохранить. Она рассказывает об этом в своих воспоминаниях, написанных уже после гибели Кравчинского. «Я до сих пор не знаю, прочел ли Сергей то, что было написано между строк химически; очень может быть, что из тюрьмы он химического письма не ожидал и не догадался смочить его реактивом»\*.

---

\* *Ольга Любатович. Далекое и недавнее. М., 1930, стр. 111.*

Но Кравчинский догадался: в его архиве я сама видела это письмо. Оно все пожелтело от реактива... Почти все строки его уже выпцвели, а бумага стала такой хрупкой, что почти распадается в руках...

Ольга Любатович отказалась вести эти переговоры... Отказался и Лавров...

А Стефанович согласился. Кроме Плеве с ним говорил и инспектор секретной полиции Судейкин. Это скоро стало известно русским эмигрантам, но и сейчас, десять лет спустя, никто из них не знал точно, как именно проходили эти переговоры.

Кравчинский ответил на отчаянное письмо Веры Засулич спокойно и рассудительно:

*«Лондон, 29 июля 1893 г.»*

Милая и дорогая Вера!

Мне очень грустно стало от вашего письма, потому что видно, что вы мучаетесь, мне кажется, понапрасну. И напрасно вы откладывали писание... Теперь дело абсолютно непоправимо, хотя, по-моему, поправлять-то нечего, даже с вашей точки зрения. Дело в том, что так как шрифта в типографии мало, то печатается лист за листом. Все пять тысяч экземпляров всех первых двухсот страниц (по-италиански) уже напечатаны и ждут брошюровки. Выбрасывать что бы то ни было теперь — значит уничтожить издание и набирать новое. Если бы я даже внес такое предложение, кто же на него согласится?»

Срочные дела оторвали его от письма, и он продолжал его только через две недели — 8 августа:

«О выбрасывании не может быть и речи. Да я и не вижу в том никакой надобности. Вы сами

не знаете, чего вы просите. Когда мы собирались издавать „Подпольную“ по-русски, заговаривали люди о том, что Х (Кравчинский в целях конспирации зашифровывает имя Стефановича.— *Е. Т.*) выпустить, мол, можно. Я, как его друг, этого не захотел. Поймите, что выбросить это значит осудить так безусловно, что даже возражений не допускать. Сами посудите: одно дело выругать человека, хотя бы и крепко, и остаться с ним в приятельских отношениях, и совсем другое, молча указать ему на дверь. А ведь выбрасывание его из русской книги именно равняется этому выбрасыванию за дверь без разговоров. Выругать его я выругал и без этого решительно невозможно было: кроме личных чувств, есть еще и общественные обязанности, главным образом, перед молодежью. Какой урок мы, старики, преподнесем ей, если не выскажемся резко отрицательно по поводу таких кривых действий, как монархическая речь и чигиринское дело? Хотя, право же, я под влиянием личных чувств (к вам, не могу не сознаться, больше, чем ко всей мужской половине вашего семейства\*, вместе взятой) выразил это отрицание в самой слабой из возможных форм и выругал Д. вовсе не крепко. Посылаю вам кусок рукописи, где это порицание содержится. Судите сами. Заметьте, что я ругаю чигиринщину в сущности сильнее, чем речь, и в обоих случаях ругаю *принцип* (Кравчинский подчеркнул это слово.— *Е. Т.*), а не личность, и заметьте еще,

---

\* «Семейством» Кравчинский называет группу «Освобождение труда».

что это порицание стоит в середине очерка, как слой кастилки между двумя приятными на вкус жидкостями, так что читатель проглотит легко и приятно. В книжке порицание производит очень легкое, может быть, слишком легкое действие. Но все-таки мысль высказана, и мы свое дело сделали в смысле предостережения молодых людей от повторения подобных фальшивых вещей. Без этого было бы невозможно, не по совести.

Ну, надеюсь, — вы успокоились» \*.

...Так в очерке о Стефановиче появилась страница, которая, конечно, резко отличается своим тоном от тона всей книги.

В таком виде этот очерк и дошел до Веры Засулич через несколько месяцев, когда она получила русское издание «Подпольной России».

Читатель, вероятно, не забыл, как богат чувствами и мыслями, как разнообразен по манере изложения этот очерк. Начинается он, как вы помните, с истории чигиринского заговора, рассказанной совершенно в духе захватывающих приключений (настоящий детектив, как сказали бы сейчас!). Затем идет приведенная выше страница с осуждением Стефановича. Вторая главка вся ведется от первого лица, что придает ей теплый лирический колорит, и вся насыщена эмоциями. Полная ликования комическая живая сцена, в которой автор из условной телеграммы — «Родился мальчик радуйтесь» — узнает о благополучном побеге Стефановича, Дейча и Бохановского из Киевской

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 1, стр. 240—242.

тюрмы, — сменяется описанием тревожного нетерпения, с которым автор ожидает встречи со Стефановичем.

Сначала он скороговоркой перечисляет все необходимые процедуры, через которые должен пройти Стефанович в целях конспирации. Автор понимает, как необходимы все предосторожности, но время тянется для него нестерпимо медленно. Он выходит на улицу.

И тут читатель, заразившийся нетерпением автора, ожидающий дальнейших событий, буквально с разбегу наталкивается на романтический пейзаж в духе медлительных чувствительных романов конца XVIII века: «Была одна из тех волшебных петербургских ночей, которые принадлежат к числу величайших красот нашей столицы. Вечерняя и утренняя заря, казалось, целовались в бледном, беззвездном небе, с которого струились потоки нежного, розоватого, фантастического света; а легкие, золотистые облака медленно плавали в атмосфере поразительной прозрачности».

Дальше автор говорит снова прямо от себя: «Как любил я прежде эти белые ночи, когда, бывало, один в маленькой душегубке, с двуцерным веслом в руках скользишь посредине величавой Невы, точно вися в пространстве между необъятным сводом неба и бездонной глубиной другого свода, отражавшегося в черной поверхности реки».

В этой нарочитой неторопливости нетерпеливый читатель как бы вместе с автором принужден физически ощутить медленное течение времени... И даже уже поддается завораживающему очарованию столько раз прославленной



белой ночи, для которой автор нашел свои слова.

Но одно слово, форма одного глагола нарушает безмятежность этого пейзажа, вызывает в нас какую-то невнятную тревогу. Почему — «как любил я прежде», а не «люблю и сейчас»?

Последняя фраза с размаху разрушает очарование «волшебного» зрелища: «Зато как же возненавидел я потом эти предательские жандармские ночи!»

И читатель уже видит этот великолепный пейзаж совсем другими глазами — глазами человека, который должен прятаться, для которого промозглое ненастье и мрак милее всего этого волшебства...

Кончается же главка радостной встречей со Стефановичем и выразительным его портретом, увиденным «любящим взглядом». Особую достоверность этому портрету придает именно рассказ от «первого лица»: «Мне не приходилось встречать человека более некрасивого»; «Я заметил, что в разговоре он вовсе не прибегал к жестикуляции» и т. п.

Третья, последняя главка — страничка с небольшим — посвящена характеристике Стефановича, также сделанной «от первого лица»: «Это человек широких планов, лучший тип организатора, какого я когда-либо встречал»... Отмечая его ум и силу характера, автор останавливается на сложности его натуры, его скрытности, его «хитрости» в политике, отдает должное его деловитости и рассказывает о его трогательной привязанности к друзьям и к отцу.

Действительно, «порицание стоит в середине очерка, как слой касторки между двумя приятными на вкус жидкостями»!

Очевидно, Засулич и вправду «успокоилась» по поводу очерка о Стефановиче, так как отвечала Кравчинскому после получения «Подпольной России» (очевидно, в конце ноября 1893 года): «Прочтя теперь очерк о Дмитре целиком, я вижу, что он написан как нельзя лучше, и уж, конечно, так во 100 раз лучше, чем если бы вы выбросили его из книжки и даже лучше (по отношению к самому Дмитру), чем если бы вы напечатали его в первой редакции, написанной до суда.

Так как в очерке говорится о суде, то он является выражением отношения к Дмитру (в общем, все-таки очень теплого) *несмотря на суд, чего не было бы видно из первой редакции*» (ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, л. 8).

И Кравчинский написал ей: «Очень рад, что вы насчет Дмитра так со мной согласны»\*.

Даже в угоду самым близким друзьям не мог бы он покривить душой — действовать не «по совести», умолчать о том, что считал нужным сказать.

...Но Кравчинский так никогда и не узнал, что царская жандармерия сломила Стефановича и он-таки выдал товарищей...

А Вера Засулич (и Лев Дейч), хотя и узнали, — когда после революции 1917 года были опубликованы полицейские документы, — но не поверили.

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 1, стр. 238, письмо от 31 (?) ноября 1893 года.

И облик Стефановича в «Подпольной России» остался таким, каким хотел его видеть Кравчинский. Осталось и осуждение кривых путей в революции и предостережение следующим поколениям...

### **«ПОДПОЛЬНУЮ РОССИЮ» ЧИТАЮТ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ**

Едва только первые главы «Подпольной России» были напечатаны в газете — во многих странах на них обратили внимание.

В самом начале 1882 года уже «стали появляться с разных сторон предложения об отдельном издании и о переводе на другие языки, — писал Кравчинский Чайковскому в Лондон, посылая ему главы, опубликованные в «*Ringolo*». — В Париже, например, они (главы — *E. T.*) переводятся для *Justice*, которая очень расхвалила эту работу».

Пока Чайковский хлопотал в Лондоне, друг Кравчинского Николай Цакни, живший в Париже, почти договорился об отдельном французском издании, для которого Лавров согласился написать предисловие.

В начале февраля 1882 года, как видно по письму Кравчинского, Чайковский уже сообщил ему, что ведет переговоры с лондонской газетой «*New Castle Chronicle*» о переводе глав «Подпольной России», а также об отдельном ее издании на английском языке. Кравчинский предупреждал Чайковского о необходимости некоторых поправок по сравнению с текстом итальянской газеты.

Однако дело двигалось сначала медленно, и Кравчинский в конце февраля писал тому же Чайковскому, что согласен ждать, и добавлял: «Я очень терпелив, хотя, на первый взгляд, это может быть и незаметно».

Терпеливость ему, действительно, была весьма нужна.

Уже вышло отдельное издание в Милане, а переговоры во Франции и в Англии все еще тянулись. Но Кравчинский не унывал. Да и Реклю так категорически подтвердил желательность перевода книги на другие языки...

В июне Кравчинский писал Чайковскому: «А во Франции, кажется, налаживается совсем. Цакни писал, что издатель „охотно“ согласился. Дело только за условиями и переводчицей». В этом же письме он сообщал, что в Америке ничего не вышло.

Через некоторое время Чайковский уведомил Кравчинского о своих переговорах с одним английским издателем, и Кравчинский радостно ответил ему:

«Ждать согласен, ввиду таких блестящих перспектив (представь, сегодня пришло от разных переводчиков целых три предложения из Англии!) — не только три недели, а много больше. Хоть три месяца. Предложение твоего издателя самое приятное, конечно... Когда найдется и уладится все, напишешь, конечно. Я хочу ретушировать книжку и прибавить кое-что, очень мало, впрочем». (Здесь «ретушировать» — в смысле «исправить», «улучшить».)

Дело с английским переводом, так же как и с французским, затягивалось. Аксельрод в Цюрихе хлопотал о немецком переводе. Неожидан-

но из Лиссабона пришло предложение о переводе на португальский язык. Чайковский очень огорчился из-за задержек с английским изданием, и Кравчинский его успокаивал. В письме от 14 августа 1882 года (одно письмо он вдруг отправил, проставив дату!) он сообщал: «Я писал тебе еще в самом начале и теперь пишу, что надеюсь на английский перевод только после появления французского и немецкого. Если он явится раньше — это будет фортуна чистая».

Летом и осенью в разных странах во многих газетах появились рецензии на «Подпольную Россию», и это значительно ускорило перевод ее на другие языки.

В октябре Кравчинский писал Чайковскому: «Пишу тебе вот почему: к моему издателю после рецензий лейпцигского „Magazin“ и Athenaeum'a с Graphic'ом начинают приходить предложения перевода моей книжки... Из Парижа получено предложение от Гашета, которое, кажется, тоже устроится скоро. Из Англии пока ничего не получилось, но может со дня на день, потому что и оттуда уже есть два предложения от переводчиков пока, а не от издателей».

Далее он просил сообщить, договорился ли с кем-нибудь из издателей Чайковский, и замечал: «Самое важное перевод, а издатель уже идет на втором плане. Если перевод будет хорош, книжка пойдет». И в самом конце добавлял: «Кстати: португальское издание уже вышло, и я получил авторский экземпляр. Издание превосходное — по шрифту, бумаге, изяществу. Вдвое лучше тревесовского. И перевод, кажется, превосходный: по крайней мере очень верный (никогда сам не переводил так точно), а где

есть отклонения от оригинала (очень немногих местах), там почти всюду даже лучше сделано».

Действительно, неожиданное португальское издание было превосходно. В другом письме Кравчинский подробно описывает его: «издание самое джентльменское и благопристойное — превосходит даже италийское... Красное сердечко (щит круглый) правда есть, но там выведено вязью А. Ф. С. — Avelino Fernandes et C<sup>o</sup> — вензель издательского дома., обложка книги — черная лакированная бумага с надписью желтым и червонным золотом: *Stepniak*, под ним черта и полукругом *A Russia subterranea*, затем прямо: *Perfis e escorcos revolutionarios* и больше ничего: щит с вензелем издателя и *Lisboa, 18 Rue Oriental, de Passeio, 1882*».

Один экземпляр этой книги имеется в Ленинграде в Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Я видела его — отличное издание!

С этого времени все стало складываться удачно. Если французское издание и задержалось (а оно было сначала ближе всего), то с английским все устроилось благополучно. Чайковский договорился с издательством Смит и Эльдер об издании «Подпольной России» на английском языке. Нашел переводчика — мистера Соттера, и — что было весьма важно — издатель обещал немедленно выдать значительный аванс. Одновременно Чайковскому удалось договориться с редакциями нескольких английских журналов о печатании новых статей своего друга.

Кравчинский писал Чайковскому (вероятно, это был конец ноября): «Ну, эти дни мне вообще очень везет: вчера я получил из Вестника

Европы известие о том, что моя статья об итальянских поэтах пойдет в январской книжке. А статья преогромная в 4 1/2 листа... Из Германии тоже предложение перевода с уплатой марок 600—700! Вообще, груды золота..., мне и не снилось таких сумищ...» «Думаю через два месяца совсем очиститься от всяких долгов и заняться исключительно иностранной пропагандной литературой».

В эти дни он написал и Павлу Аксельроду в Цюрих по поводу его переговоров с Бернштейном об издании «Подпольной России» на немецком языке, радуясь тому, что его издадут немецкие социал-демократы.

Хотя в отдельном итальянском издании по сравнению с газетным текстом Кравчинский многое изменил и много труда отдал редактированию своей книги — он все еще хотел что-то уточнить, что-то улучшить и посылал переводчику свои поправки.

Самые большие изменения Кравчинский внес в очерк о Софье Перовской. Помимо стилистических поправок Кравчинский послал в Лондон текст предсмертного письма Софьи Перовской к матери, — оно было опубликовано уже после выхода книги Кравчинского в брошюре о Перовской, изданной «Красным крестом Народной Воли» в Женеве.

Кравчинский очень заботился о том, чтобы это письмо было переведено как следует. Сообщая в конце 1882 года Чайковскому, что отослал издателю поправки и перевод письма Перовской, Кравчинский писал:

«...Я перевел письмо Перовской на итальянский. С него будет переводиться вторично на

английский. Так как желательнее, чтоб это дивное письмо возможно меньше потерпело в переводе, и так как при таком двойном переводе оно непременно потерпит, то не можешь ли ты или кто из русских перевести его в свою очередь прямо на английский. Это очень трудно, я знаю, но если даже, независимо от труднопереводимости его вообще, ты опасаясь за английский язык, то не беда: переводчик, имея перед глазами оба наши перевода, сумеет гораздо лучше уловить его характер и дух, чем при одном моем. То же самое хочу сделать и с французским и немецким изданием».

29 марта 1883 года Кравчинский отметил в своей записной книжке: «Английское издание вышло». И так, не прошло еще и года со дня появления миланского издания, а «Подпольная Россия» уже была переведена в Португалии и в Англии.

Английское издание тоже было вполне приличное. Солидная книжка в 295 страниц, такого же формата, как и итальянская.

Через несколько дней после получения книги из Лондона Кравчинский писал Чайковскому: «Кстати, перевод вообще очень хороший и добросовестный (хотя немножко дубоват). Но есть несколько (немного, впрочем) промахов, которые нужно будет исправить. Есть тоже важные опечатки, искажающие смысл».

Книга разошлась очень быстро, и через несколько месяцев, в том же 1883 году, вышло второе издание.

В том же 1883 году в Стокгольме вышел перевод «Подпольной России» на шведский язык. Издание было несколько сокращено: предисло-



вие Лаврова, вступление и заключение автора были опущены. Зато книге была предпослана обстоятельная вступительная статья о России и нигилизме.

В 1884 году «Подпольная Россия» вышла в Берне в переводе на немецкий язык.

В 1885 году, наконец, вышло французское издание, выпущенное в Париже издательством Леви, в переводе молодого писателя Юг Ле Ру, незадолго до этого напечатавшего роман о России «Покушение Слугина». Кравчинский написал специально для данного издания новое заключение, которое было помечено: «Лондон, 1884, декабрь». Так как формат книги был поменьше, она получилась очень толстой — в 426 страниц.

В 1886 году «Подпольная Россия» вышла в Голландии.

В том же 1886 году в Будапеште в газете «Столичный листок», выходящей на венгерском языке, были напечатаны некоторые главы «Подпольной России», в том числе и очерк о Перовской, названной в газете «Софьей Петровской»...

Затем появились переводы «Подпольной России» на

испанский,  
болгарский,  
польский,  
датский,  
еврейский языки.

В Англии в 1890 и 1896 годах вышли третье и четвертое издание. Повторные издания «Подпольной России» выходили и на других языках.

Книга перешагнула границы Европы — она была издана в Нью-Йорке в 1883 году, англий-

ские издания ее были известны в Японии и Китае. (Мне рассказывал об этом академик Н. И. Конрад.)

Только на русском языке не было «Подпольной России»...

## ГОЛОСА ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРЕССЫ

В архиве Кравчинского сохранилась папка (ф. 1158, ед. хр. 566), в которой аккуратно подклеены рецензии на «Подпольную Россию», вырезанные из разных газет и журналов. Пресса Италии, Англии, Германии, Франции, Австрии сообщала своим читателям о новой книге о России. Одни ругали, другие хвалили, но все считали необходимым информировать об этой книге. Здесь сохранилось свыше тридцати рецензий, но это, конечно, далеко не все. Товарищи из разных стран посылали их Кравчинскому, но не все они могли достать и не все доходило до самого Кравчинского, и не все сохранилось у него, но, во всяком случае, он с интересом читал эти отзывы и постоянно просил своих друзей присылать ему все, что им попадетсЯ.

Самой первой была небольшая рецензия в миланской газете «Il Secolo». Эта рецензия появилась через десять дней после выхода книги — в номере от 21 мая 1882 года. Так же быстро откликнулась римская газета «Capitan Fracassa», поместив о книге Степняка целую статью с продолжением — в номерах от 29 мая и 7 июня 1882 года. Обе газеты давали благожелательный отзыв и рекомендовали своим читателям ознакомиться с книгой.

По совету Чайковского Кравчинский в начале июня послал в Англию в редакции наиболее влиятельных газет и журналов по экземпляру своей книги с таким сопроводительным письмом на французском языке: «Посылая Вам книжку, позволю себе прибавить, что написал ее исключительно с целью представить в пастоящем свете русское революционное движение (нигилизм), подвергавшееся стольким клеветам вольным и невольным,— я был бы очень счастлив, если бы английская публика, столь широкая в своем стремлении исследовать все вопросы, пожелала обратить на нее внимание. Поэтому буду Вам очень обязан, если бы Вы нашли возможным прочесть мою книгу, чтобы сказать о ней два слова в Вашем почтенном органе,— буде найдете, что она того заслуживает», как сообщал он Чайковскому.

Однако первый отзыв вне Италии появился в Вене. Реакционная газета «Neue Freie Presse», выходявшая там на немецком языке, в номере от 24 июня 1882 года поместила большую статью «Подпольная Россия» за подписью «К. фон Талер».

«Какой представляется Россия и русская жизнь правительственной партии.., — начинал автор статьи,— мы узнали недавно из книги, написанной по желанию вдовы Александра II. Там нам превозносили мягкость и доброту царя.., сообщали трогательными словами о любви и преданности народа, а о партии революционеров говорили с отвращением... Сегодня мы хотим выслушать противную сторону. Она выпустила такую же интересную и, может быть, еще более замечательную книгу.., книгу о приключе-

ниях, которые проходят перед нами, как безумные, фантастические картины, но тем не менее в основе их, как кажется, — лежит правда. Эта книга вышла из главной штаб-квартиры русской революционной партии и она так же односторонняя в своих суждениях, как и вышеупомянутая книга княгини \*, и она полна неумеренного восхищения и фанатического восторга перед нигилистами и защищает их преступления блестящей софистикой...

Не знаю, — лицемерно продолжал автор, — не сослужит ли эта книга дурную службу делу свободы: то спокойствие, с которым в ней говорится об убийствах, противоречит нашим западным чувствам». Далее он утверждал, что за европейскую внешностью русских революционеров просвечивает азиатская дикость. И, мол, европейцев отпугивает хладнокровная жажда убийств. «Нельзя сочувствовать этим кротам революции, которые в буквальном смысле слова роются под землей. Правда, умирают они героически... Но Степняк ошибается, говоря, что другая, более честная война с правительством — невозможна... Даже жесточайший деспотизм не принуждает своих противников пятнать их руки кровью. Декабристы покраснели бы, встав из гробов, видя сегодняшних революционеров за работой...»

Далее рецензент подробно излагал содержание книги, особенно останавливаясь на портретной галерее революционеров, и заключал: «Книга Степняка — хороший источник сведений как об отдельных людях, так и о работе партии в

---

\* Долгорукой (Прим. редакции газеты. — *Е. Т.*)

целом». Но, продолжал автор: «Можно сомневаться: так ли ясно будущее нигилизма, несомненна ли его победа над правительством? Нельзя поручиться за успех того движения, которое действует такими варварскими средствами... Затрудняясь отдать предпочтение любой из враждующих сторон, мы выскажем такое мнение — возможно, что разгадка русской загадки состоит в следующем: каждый народ имеет такую революцию, какую он заслуживает».

Итак, отнюдь не соглашаясь с автором и не разделяя его точки зрения, больше того, резко порицая его, рецензент тем не менее отдавал ему должное: «хороший источник сведений»...

Очевидно, друзья сразу же прислали эту рецензию в Милан Кравчинскому, потому что уже 1 июля 1882 года он писал жене в Париж: «Есть кое-что курьезное — рецензия в „Neue Freie Presse“. Подлая, но очень интересная».

Через пять дней — 5 июля 1882 года он писал жене уже о многих других рецензиях (к сожалению, они не сохранились в его архиве), успокаивая ее по поводу задержки с французским переводом «Подпольной России», о которой она ему сообщила: «У меня скорей всего устроится немецкое издание, потому что там взялся хлопотать сам Тревес (у него третий брат в Вене),.. в немецких газетах о моей книжке масса [рецензий] и больших — фельетонами: Neue Freie Presse, берлинские Tagblatt, и Borser Zeitung и Kölnische Zeitung. Да! В английской Overland Mail целых две колонны — отличные и ужасно хвалят и хорошо, умно» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 72 и 80).

В отзыве реакционной английской «Сатердей ревю», поместившей в номере от 12 августа большую статью о «Подпольной России» без подписи, Кравчинский нашел уже знакомые ему нападки на жестокость русских революционеров; в статье особо отмечалось, что «в книге нет ни одного слова сожаления о солдатах, убитых при взрыве в Зимнем дворце, и прочих невинных жертвах». Но и осуждая деятелей русской революции, автор статьи все же должен был признать, что книга служит «верным выражением чувств русских революционеров и правдиво излагает те цели, к которым стремятся эти политические фанатики».

Кравчинский отметил это признание английской реакционной прессы как очень важное для него. В большом письме к Н. Чайковскому (осень 1882 года) Кравчинский, излагая цели и задачи своих статей для английской печати, писал: «Ты очень хорошо определил Джона Буля. Это человек сильный, очень сильный, и мне, признаться, он чрезвычайно нравится как таковой. Обращаясь к нему, принимаю в расчет прежде всего это его качество: как все сильные и даже спесивые люди, он не любит, чтоб его кто-нибудь убеждал: это ведь стремление к нравственному насилию. Впрочем, не одни англичане таковы — это вообще вся европейская публика. Поэтому и в своей-то первой книжке я совсем не задавался апологетикой чего и кого бы то было: я изображал людей и вещи, каковы они есть, стараясь изобразить их, разумеется, симпатичными (каковы они на деле как люди, даже не для нигилиста). Даже свою симпатию к ним я старался по возможности меньше выстав-

лять на вид, чтобы придать книжке характер беспристрастия. Когда прочтешь ее по-английски — увидишь сам. Я просто говорю читателю: смотри и виждь и суди сам — я не хочу ничего тебе своего навязывать. Это самый лучший — единственный даже — способ навязать человеку то, что тебе хочется. Цель моя была представить нигилистов — людьми, как и все, а вовсе не дикими зверями, чтобы читатель сказал, почувствовал, что действительно, одно внешнее давление заставило их взяться за нож. Что в значительной степени мне удалось добиться этого — доказывают отзывы реакционной прессы, *Saturd[ay] Rev[iew]* и некоторых немецких, как, например, чрезвычайно тронувший меня своей теплотой, отзыв лейпцигского *Magazin für die Litteratur*».

Действительно, рецензия, помещенная в органе всегерманского Союза писателей «*Das Magazin*», выходящем в Лейпциге, в номере от 26 августа, поражает своей благожелательностью.

Автор рецензии, критик Вильгельм Лёвенталь отмечал, что это «своеобразная книга, от которой сильнее бьется сердце и из которой можно многому научиться... Имя автора — Степняк — не настоящее, по фактический материал его книги — правдив., эти факты проливают совершенно новый свет и на основоположников и на нынешних деятелей движения... Вся книга полна захватывающего интереса., написана на превосходном итальянском языке, без ложного пафоса и театрального завывания». Рецензия заканчивалась так: «Эта серьезная, очень серьезная книга — хотя она читается очень лег-

ко — толкает читателя на глубокие размышления».

К этой поре Кравчинский получил от Чайковского целую пачку рецензий, появившихся в английской прессе. Почти все отзывы были очень благожелательны.

Солидный «Атенеум», журнал, посвященный английской и иностранной литературе, науке, изящным искусствам и драме, в № 2865 от 23 сентября 1882 года сообщал своим читателям о «Подпольной России», что эта «замечательная» книга «единственная в своем роде... Это научное исследование, взятое из самой жизни, — исследование политического движения, может быть, самого таинственного и романтического в мире... На эту книгу должен обратить внимание и широкий читатель и ученые...»

Лондонский «График» писал в номере от 3 октября: «Эта блестящая книжечка является единственной в истории литературы. Романисты и драматурги, писавшие на эти же темы ранее, — создавали совершенную чепуху». Отмечая превосходный стиль, рецензент заканчивал так:

«Несомненно, эта книга заслуживает быть переведенной на другие языки и мы охотно верим, что в Англии она привлечет много внимания и ее будут широко читать».

«Сент-Джемская газета» в статье, опубликованной 21 октября, называла книгу Степняка «блестящей и соблазнительной», а его самого — «талантливым писателем» и, утверждая, что «интерес и значительность этой книги трудно преувеличить», давала подробный обзор содержания «Подпольной России».



Один из самых влиятельных лондонских еженедельников, посвященных литературе, науке и искусству, журнал «Академи» в № 547 от 28 октября 1882 года называл «Подпольную Россию» — «замечательной книжкой», которую «характеризует печать правдивости, а портреты несомненно написаны с натуры», и отмечал, что «книга написана на превосходном итальянском языке и написана не без дарования».

Именно эти рецензии и способствовали, конечно, переводам «Подпольной России» на другие языки.

Левая французская газета «Жюстис» напечатала статью о «Подпольной России» в номере от 31 октября 1882 года. В этом же номере было напечатано несколько отрывков из самой книги. Автор статьи писал: «Среди многочисленных работ, появившихся в последнее время о русском революционном движении, немного найдется представляющих столь драматический характер и столь волнующий интерес, как очерки, которые мы предлагаем сегодня нашим читателям. Они появились в одной газете в Милане и вызвали в Италии живейший интерес.

Дыхание энтузиазма почти неистового оживляет эти трепещущие страницы; в них ощущается дрожь негодования, громыхание гисва мятежника, для которого перо является еще одним оружием в борьбе».

Далее в статье рассказывалось об авторе книги, излагалось ее содержание.

Через месяц газета снова вернулась к «Подпольной России», поместив в номерах от 24 ноября и 5 декабря 1882 года большую статью «Нигилистическое движение», посвященную

книге Степняка, статье Крopotкина в английском журнале «Двухнедельное обозрение» за 1 мая 1882 года и книге французского историка Анатоля Леруа-Болье «Царская империя и русские».

Автор статьи говорил о трагической судьбе России и весьма сочувственно отзывался о всех трех анализируемых работах. Особенно он рекомендовал читателю «Подпольную Россию», автор которой, по его словам, обладал ярким пером и сам был соратником своих героев, разделяя с ними их гнев, страдания и опасности. «Именно это придает его страницам, которые хранят еще дрожащее эхо битвы, неизъяснимую прелесть правдивости и естественности». Газета останавливала внимание своих читателей на образах женщин, описанных в книге Степняка, и высказывала предположение, что когда-нибудь свободная Россия воздвигнет монумент в честь героизма женщин.

В статье выражалась уверенность в победе русского народа, ибо столь огромное количество жертв не может быть бесплодным.

«Но почему, — возмущенно вопрошал автор, — почему необходимо, чтоб человечество оплачивало столь печальной ценой каждый свой шаг вперед?»

Почему, подобно Сатурну, прогресс должен уничтожать собственных детей, выбирая для своих кровавых празднеств самых чистых, самых лучших?»

Статья была подписана двумя буквами — «G. B.»

Лишь немногие знали, что под этими инициалами скрывается русская писательница —

В. Н. Никитина, уже несколько лет жившая в Париже и сотрудничавшая в радикальной французской прессе.

Кравчинский писал Николаю Цакни в Париж (конец 1882 года): «...получил Justice. Отлично задуманная и написанная статья. Благодарю Никитину за ее симпатичные и душевные строки о моей книжице» \*.

После выхода английского перевода «Подпольной России» в английской печати снова появилось несколько отзывов.

Кравчинский писал жене из Женевы в Кларан (в апреле 1883 года?): «В Athen[eum] очень интересная рецензия появилась. Больше о переводе, впрочем, отсылая к своей предыдущей рецензии. Перевод, говорит, недурен, хотя в некоторых местах грубоват: it has none of the vigorous elegance of Stepniak's italian [далее он переводит для жены на французский язык эту фразу, которая означает: в нем не осталось ничего от мужественного изящества итальянского языка Степняка] (видишь, миленькая, как о нас говорят), но видно, что переводчик старался понять своего автора и передать его „по мере сил“. Затем говорится, что почти всегда, хотя не вполне, но передает своего автора, в более „бледном“ виде впрочем... Это я пишу потому, что мне очень занятно, как меня третируют\*\* как заправского „самделишного“ автора, которого нужно тонко понять, которого там верно, там слабо передали и т. д. Это очень забав-

---

\* «Каторга и ссылка», 1928, № 11(48), стр. 78.

\*\* В те времена слово «третировать» употреблялось без отрицательного оттенка и означало просто: «относиться».

но, ей-ей. Ну, а в заключение рецензент говорит, что все эти недостатки он указывает в надежде, что при втором издании, кое *is extremely probable* — в высшей степени вероятно скоро последует — эти ошибки будут исправлены, потому, что в „книге, такой единственной в своем роде“, имеющей быть а „Standartwork“ — капитальным произведением нашей литературы, — составляющей *priceless contribution* — драгоценнейший вклад в наши знания о России — не следует пренебрегать ничем, чтоб сделать перевод безукоризненным. Вот, миленькая, как про нас говорят. Сурьезно.

Заметил, что перевод „обогащен“ письмом Перовской, которое называет самым замечательным и трогательным из всех известных миру произведений эпистолярной литературы» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, л. 13—15).

Действительно, в своей рецензии журнал «Атенеум» (№ 2893 от 7 апреля 1883 года) давал очень высокую оценку «Подпольной России».

За пять дней до этой рецензии газета «Дэйли Ньюс» в номере от 2 апреля 1883 года, резко порицая деятельность русских революционеров, которые «взрывают, конспирируют, бросают бомбы, колот кинжалами и вообще действуют самым мерзким образом», писала, однако, что «Подпольная Россия» — «интереснее самого сенсационного романа».

В таком же духе высказался о книге Степняка и журнал «Спектейтор», посвятив рецензии на «Подпольную Россию» три большие колонки в номере от 7 апреля, и газета «Брэдфорд Обсервер» — три столбца 12 апреля, и газета

«Уикли Диспетч оф Лондон» (на вырезке не сохранилось даты).

Зато газета «Sun», выходящая в Нью-Йорке (даты на вырезке также не сохранилось), в рецензии на американское издание «Подпольной России» весьма ее расхвалила.

Большими статьями встретили парижские газеты перевод «Подпольной России» на французский язык. В архиве Кравчинского сохранились вырезки из семи крупнейших парижских газет за ноябрь и декабрь 1885 года.

Самой первой выступила старейшая и влиятельнейшая газета «Тан». В номере от 28 ноября она посвятила «Подпольной России» четыре больших столбца. Автор статьи выражал свое удивление по поводу того, что такая книга три года ждала перевода на французский язык. «Мы давно интересуемся нигилизмом, а такие имена, как Гартман, Вера Засулич и Софья Перовская, уже давно занимают свое место в калейдоскопе парижского воображения». В газете особенно отмечался стиль книги. «Эти страницы, которые в основе своей столь трагичны, написаны подчас с добрым солдатским юмором. Выгодно отличает Степняка от ординарных революционных писателей то, что его стиль совершенно свободен от невыносимой декламационности».

Наиболее подробно автор статьи останавливался на очерке, посвященном Кропоткину, приведя почти целиком рассказ о побеге Кропоткина.

Интерес этот был понятен, так как незадолго до этого Кропоткин в угоду царскому правительству был арестован во Франции и после

громкого процесса приговорен к трем годам заключения в тюрьме Клерво.

На следующий день — 29 ноября 1885 года — другая влиятельная парижская газета «Сьекль» также отвела три столбца «Подпольной России», также, главным образом, остановившись на фигуре Кропоткина и приведя большой отрывок из книги Степняка о нем.

Газета специально напоминала своим читателям, как недавно еще все с волнением следили за драмою нигилистов в России. «Великий писатель Тургенев изобразил их фигуры как в камер-обскуре и вот, теперь, они появляются перед нами в своей жизненной правдивости и заново заставляют дрожать старый мир...»

Остальные газеты также привлекали внимание своих читателей к «Подпольной России»...

Итак, знакомство с отзывами итальянских, английских, французских, американских, немецких газет и журналов убеждает нас, что во всех странах, независимо от того, сочувствовали русскому революционному движению или нет, — органы печати отмечали значительность книги Степняка и талант ее автора.

Интересно, что сам Кравчинский в одном письме (лето 1885 года) к Анне Эпштейн, по поводу ее отзыва о его книге «Россия под властью царей», вышедшей в Лондоне на английском языке в начале 1885 года, сетовал: «Все твое письмо наполнено критикой. Увы, я знал, что так будет. Несть пророка в земле своей. Первую мою книгу иностранцы хвалили. А из русских — Вольное Слово заплевало со всем, а Народная Воля только через три что-то

года что-то кислое проговорила о ее существовании» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 166, л. 15). .

Но прежде чем рассказать, как отнеслась к «Подпольной России» русская печать — нелегальная, эмигрантская, легальная и полицейская, — я расскажу еще об отзывах некоторых иностранцев.

Я уже приводила отзывы Вильяма Морриса \*, Этель Лилиан Войнич \*\*, Марка Твена \*\*\* и Перо Слиепчевича \*\*\*\* о громадном впечатлении, которое на них произвела «Подпольная Россия», во многом изменив и определив их дальнейшую жизнь.

Знаменитый датский критик Георг Брандес, известный своей взыскательностью, пишет в своих воспоминаниях: «Покойная Софья Ковалевская обратила мое внимание на книгу «Подпольная Россия», которая сразу произвела на меня глубокое впечатление» \*\*\*\*\*.

Интересно отметить, что Клара Цеткин, жившая в начале 1880-х годов в Швейцарии,

---

\* См.: E. P. Thompson. William Morris. Romantic to revolutionary. London, 1955, p. 354 и газету «Daily News», 1886, 29 марта, заметка «Nihilism in London» (за сообщение о последней приношу глубокую благодарность А. Ротштейну).

\*\* См.: *Е. Тарагуа*. Этель Лилиан Войнич. Судьба писателя и судьба книги. М., «Художественная литература», 1964, стр. 269.

\*\*\* *М. Твен*. Собрание сочинений. М., Гослитиздат, 1961. Т. 12, стр. 613.

\*\*\*\* *П. Слиепчевич*. Данашница и «Млада Босна». Београд, 1929, стр. 32—33.— Цит. по сб.: «Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран». М., Изд-во вост. лит-ры, 1963, стр. 460.

\*\*\*\*\* *Г. Брандес*. Впечатления о Лондоне.— Цит. по газ. «Неделя», 1965, № 36, стр. 8.

вскоре после появления «Подпольной России» читала вслух своим товарищам эту книгу, тут же переводя ее на немецкий язык\*.

## АЛЬФОНС ДОДЭ И ЭМИЛЬ ЗОЛЯ О «ПОДПОЛЬНОЙ РОССИИ»

В архиве Кравчинского сохранилось письмо его жены к нему. Оно — без даты, без начала, без конца... Очевидно, и хранился именно этот листочек. Вероятно, он был послан в начале 1884 года из Парижа, где тогда жила у друзей Фанни Марковна, в Женеву. Большая часть листочка исписана незнакомым мне почерком. Вероятно, писал один из друзей Кравчинского. Вот что там было:

«...Это все цветочки, а ягодки впереди. Действие происходит в салоне у Мадам Adam. Большое общество, между прочим — Додэ, Золя. Додэ рассказывает сцены из русской жизни по твоей книжке. Но вот, впрочем, что он сам рассказывает про это: "Я рассказываю и поглядываю на Золя. Изучил я его до тонкости. Есть у него вот какая черта. Где бы он ни был — он всегда старается заполучить что-нибудь для своих произведений. При этом он принимает совершенно особый вид равнодушия, когда он что-нибудь очень интересное слушает. Je connais bien ce petit air là (то есть «Я хорошо знаю это его выражение».

---

\* См.: Г. Гуревич. Среди революционеров в Цюрихе. — В кн.: «Еврейская летопись». Сб. IV, стр. 98 — 103.



— *Е. Т.*)“. И вот этот самый *petit air* и заметил Додэ, когда рассказывал из твоей книжки. ”На другой день (продолжение рассказа Додэ) встречаю Золя, и он сообщает, что пишет новый роман, и действующее лицо там — русский. Я, говорит, нашел *un excellent petit livre en italien* (превосходную книжечку на итальянском. — *Е. Т.*), там, говорит, кое-чем позаимствовался. Тогда я (Додэ) ему говорю, увы, *pop arté*, эта книжка очень хорошая, настолько хорошая, что я содействую изданию, и она выйдет в свет на французском не сегодня, так завтра. Золя был просто в ярости. Ему придется переделывать 60 страниц“.

Додэ в восторге от книжки. Переводчик говорил, что когда спросил его мнение, то он заговорил скоро и оживленно замахал руками над головой. А это, по словам переводчика, — высшее выражение сильных чувств у Додэ.

Далее письмо продолжала Фанни Марковна: «Вот что еще прибавил переводчик: *être volé par Zola, c'est quelque chose!* (быть обворованным Золя — это чего-нибудь да стоит!.. — *Е. Т.*) Узнав про все это, я затанцевала на Больших бульварах...» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 439, л. 5).

Известно, что Эмиль Золя действительно очень заинтересовался русскими революционерами, известно, что в своем романе «Жерминаль» сочувственно вывел фигуру русского нигилиста Суварина, прототипами которого были, вероятно, и Степняк и Кропоткин.

Альфонс Додэ был тронут книгой Степняка и содействовал ее переводу на французский. Интересовался он и дальнейшей работой

автора «Подпольной России». Через жену Кравчинский послал для Додэ в Париж рукописи своих очерков об Ольге Любатович (после того, как судьба Ольги определилась — ее выслали в Сибирь, — Кравчинский в конце 1882 года написал о ней для английской печати) и о Степане Халтурине.

Весной 1884 года (вероятно, в конце апреля), получив письмо с рассказом об отношении Додэ и Золя к его книге, Кравчинский писал жене: «...Насчет Додэ и сюжетов непременно спроси. Это очень важно. Во-первых, он меня очень тронул своим участием и нужно его отблагодарить. А затем мне же выгодно быть эксплуатируемым Додэ. *C'est bien quelque chose* (Это очень хорошая штука. — *E. T.*). Я думаю, что Ольга и Халтурин должны очень понравиться ему. Скажешь, конечно, что это *только для него*, а не для печати, потому что до появления в Англии не могу распоряжаться» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, л. 26).

Летом 1884 года — по дороге из Швейцарии в Англию, куда он должен был скрыться, так как царское правительство настаивало на его выдаче, — Кравчинский был несколько дней в Париже. Оттуда он писал жене в Швейцарию: «Додэ не видел, потому что он в деревне. Издателя видел и покончил. Очень милый человек» (там же, л. 35).

Нам неизвестно, как именно отнесся Додэ к очеркам Кравчинского, но в романе Додэ «Тартарен в Альпах» мы встречаемся с фигурами русских нигилистов, изображенных очень сочувственно, но надо сказать — весьма далеко от истины, почти в карикатурном виде.

Во всяком случае, для нас важно, что двое крупнейших французских писателей-реалистов остановили свое внимание на «Подпольной России» и эта книга — да и фигура самого автора ее — дала им материал для их книг.

## НОВЫЕ ЗАМЫСЛЫ

Воодушевленный интересом к «Подпольной России» во всех странах, Кравчинский думал продолжить эту работу. В конце 1882 года он получил уже несколько предложений от издателей английских газет и журналов написать новые очерки о русских революционерах, причем один из заказчиков специально подчеркивал, что это должны быть «правдивые рассказы о приключениях и заговорах».

В это время (24 ноября 1882 года) он писал Чайковскому в Лондон из Милана:

«Я писал тебе как-то о том, что замышляю вторую книжку под заглавием — «Россия под властью царей»... Это должна была быть серьезная фактическая книга о состоянии интеллигенции и народа в России.— Я очень дорожу этой работой, которая при хорошей подготовке может иметь больше значения, чем книги вроде *Sottoganea* (т. е. «Подпольная Россия».— *E. T.*), хотя и не будет особенно занимательна для легкой публики. Поэтому впоследствии эту работу я непременно сделаю. Но пока нужно ее отложить; никто ее не требует. Вот почему теперь я решил приступить к более легкому и удобосбываемому жанру своей первой книжки. План у меня такой:

Эскиз первый (не знаю, как назвать его, чтоб было энергично и не слишком трескуче) будет представлять некоторые приключения Ольги (Любатович).— Центром будет служить ее приключение в Питере, когда ее поймали, привели на квартиру, где ее нарочно ждал Морозик, как они надули жандармов и убежали. Ее бегство из Сибири тоже будет. (Эскиз начнется именно с переполоха, причиненного фальшивым известием о том, что она утопилась.) — Одним словом, эскиз будет служить иллюстрацией тех треволнений и передраг, которые так часты в нигилистической жизни. Характеристика самой Ольги, а также, косвенно, семейных отношений нигилистов будет само собой.

С этого начну и думаю, что будет интересно, живо и драматично — как требует заказчик.

Второй эскиз думаю посвятить изображению нашей динамитной фабрики — с целью выставить образ жизни, лишения и характеры людей, работающих в ней.

Затем биографический очерк Халтурина, с историей взрыва дворца.

В заключение — 13 марта в нескольких картинах.

Эти четыре эскиза в сумме составят листов 5—6 русских и листов 12 формата *Sottengraea*. Прибавив к ним еще два (я их еще не выбрал) непременно легких по жанру для диверсий (то есть — развлечений.— *Е. Т.*) и отдыха от трех прочих, слишком жестоких,— составитя новая книжка таких точно размеров, как первая. Конечно, она не будет иметь другого значения, кроме расчистки дороги для нашей литературы

этого рода вообще, и разве что укрепит впечатление первой книжки. Но мне лично она даст возможность лучше обработать следующие вещи — хотя не буду жалеть труда и времени, чтобы сделать и эту, вторую, работу наивозможно лучше».

Прежде всего надо сказать, что вторая книга «Подпольной России», хотя Кравчинский отдал ей много труда, так и не вышла в свет. Но отдельные очерки — о Любатович и о Халтурине — были написаны, напечатаны на английском языке и потом переведены на русский язык. Однако случилось так, что мы до сих пор не знаем очерка о Степане Халтурине целиком. В 1907 году вдова Кравчинского, посылая издателю его сочинений в Петербурге С. А. Венгерову перевод очерка о Халтурине, предупреждает, что посылает его «без начала. В первой главе рассказывается подробно о взрыве в Зимнем Дворце, произведенном Степаном Халтуриним...» (Отдел рукописей Института русской литературы, ф. 377, № 10370). Очевидно, она понимала, что в то время в России напечатать этот очерк целиком было невозможно.

Так очерк Степняка-Кравчинского до сих пор печатается во всех наших изданиях — без начала. Где он был напечатан целиком в Англии — я не знаю, и несмотря на все мои поиски мне до сих пор не удалось его найти...

Очерк об Ольге Любатович (и о ее муже — Николае Морозове, большом друге Кравчинского) под названием «Женщина-нигилистка» был напечатан в английском журнале «Cornhill Magazin» за ноябрь 1884 года, а в 1885 году был издан отдельной книжечкой в Америке.

Книга Степняка «Россия под властью царей» вышла в Лондоне в начале 1885 года (за один год было выпущено три издания), почти одновременно она была напечатана в Нью-Йорке, в 1887 году вышла в переводе на французский в Париже и на шведский в Стокгольме.

Только в 1964 году эта книга была наконец переведена на русский язык и выпущена издательством «Мысль»...

Но вернемся к планам Кравчинского.

В ответ на свое большое письмо Чайковскому о плане второй книги «Подпольной России» Кравчинский, вероятно, получил письмо со всякими вопросами и возражениями, так как через несколько дней в свою очередь отвечал на него: «Из твоего письма вижу, что ты ожидаешь, что в следующих своих Боцетах (bozzetti — очерки по-итальянски.— *Е. Т.*) я буду воспевать терроризм и доказывать его справедливость, неотвратимость, неизбежность — вообще буду так или иначе склонять Джона Буля перейти на нашу сторону». Далее он писал о своем отношении к английскому читателю и о своих намерениях изображать «людей и вещи, каковы они есть». Этот отрывок из письма Кравчинского я привела выше рядом с отзывом английского «Сатердей ревю». А далее он писал:

«Ну, вот, во второй книжке я хочу докончить это первое впечатление. Беру нарочно самые ужасные из наших фактов: это называется схватить быка за рога. Я *абсолютно* ничего, ни одного буквально слова не скажу *в оправдание* (не только в прославление) этих фактов. Это отчасти сделано было в 1-й книге и будет доделано в 3-й (серьезной, о которой писал). Те-

перь я только буду изображать, как было дело — или лучше приготовления к нему, — и читатель сам, как будто даже помимо моего желания и, во всяком случае, без всяких упрасиваний и уговариваний с моей стороны — увидит, что люди, которые это делали, во-первых, жертвовали и рисковали для этого всем, что было им дорогого, что делать это стоило им пад собой постоянных упорных усилий, 2) что они люди, исполненные альтруистическими чувствами, насколько может быть исполнен ими человек, и вообще 3) что они самые добрые, гуманные люди вообще, которые, что называется, мухи не обидят. — Вот в общих чертах, что я хочу дать почувствовать читателю. Если это будет сделано рельефно, сильно, правдиво, — то, поверь, что читатель *сам* (а этого-то и нужно) скажет: если такие люди убивают и взрывают, то значит без этого невозможно. — Затем, нечего и говорить, что я постараюсь избежать тех сцен и всего того, что, действуя непосредственно на нервы читателя, помешало бы ему формулировать желательный вывод. Смаковать сцены крови не буду — да и кому из нас они не противны побольше много, чем среднему Джону Булю!»

Мы видим, как упорно Кравчипский повторяет одно и то же. Как упорно он формулирует свое эстетическое кредо — отсутствие прямой тенденциозности, необходимость именно художественными образами воздействовать на читателя, но никогда не забывая конечной цели — пропаганды идей русской революции.

Хотя как будто он формулирует это кредо для своих будущих работ, но совершенно ясно,

что именно эти принципы лежат и в основе «Подпольной России».

Далее в этом письме он снова возвращается к плану второй книги «Подпольной России»: «Первый мой боцет озаглавится — *Ula familia nihilista* — нигилистическая семья. Он покажет нигилистов с совершенно новой точки зрения — очень понятной, между прочим, англичанам. Я уже все обдумал и надеюсь, что он у меня будет хорош».

И полгода спустя, 4 мая (1883 года) в письме к тому же Чайковскому, сообщая ему о посылке исправленной и переделанной рукописи очерка о Степане Халтурине, Кравчинский пишет, что согласен еще сократить этот очерк: «Если бы понадобилось для этого выбросить две три фразы — я ничего не имею: вещь сама говорит за себя и поэтому очень мало потеряет, если выбросить мои квалификации и мое личное к ней отношение. Кроме того, я ведь это потом имею надежду напечатать целиком в книжке — 2-м томе ( и последнем) моей *Underground Russia*, на которую надеюсь твердо, несмотря на скромный успех первого».

Затем он писал о своем согласии, если необходимо, выбросить еще и другие места, хотя это было бы для него весьма огорчительно: «пропадет всякое пропагандное (косвенное) значение работы (что в сущности и придает ей смысл), и остается одно удовлетворение филистерского любопытства».

Итак, мы видим, что каждой своей строке он придавал «пропагандное значение». Именно это и было целью и задачей его работы. Именно это он осуществлял во многих своих



статьях и очерках, написанных по заказу разных английских газет и журналов — «Pall-Mall Gazette», «Contemporary Review» и т. д.

В начале ноября 1883 года Кравчинский получил известие о выпуске второго издания английского перевода «Подпольной России», так как первое уже разошлось. В связи с этим он писал Чайковскому 2 ноября (1883 года):

«Мне пришло в голову следующее: раз издание разошлось так скоро (7 месяцев для Англии очень скоро) — может быть, издатель согласится купить у меня второй том в рукописи. Он будет состоять из тех же составных частей, как и первый: предисловие о новейших изменениях в тенденциях и планах русских революционеров (расширение Pall-Mall), из заключения (расширение статьи Contemporary или в этом роде) с начинкою из нескольких крупных биографий — Желябовской (перевод с прибавками), Кибальчича (то же) и Халтурина (очень обширно — «Взрыв в Зимнем Дворце» составляет извлечение). Затем очерк: история динамитного производства (картинки), Дело 13 марта (с подкопом на Садовой) и другие в этом роде. Войдет также Ольга Любатович и, вероятно, Франжоли (муж и жена). Вообще там будет, главным образом, подпольная Россия динамитного периода с ее героями, тогда как в первой, написанной по личным воспоминаниям, преобладают люди и факты предшествующего периода. Том будет, мне кажется, очень интересный. Напиши, что ты думаешь об этом» (ЦГАОР).

Однако второй том «Подпольной России» так и не появился на свет. Свои планы Крав-

чинский осуществлял в других своих книгах.

А теперь посмотрим, как «Подпольную Россию» встретили русские — враги и друзья.

## ПЕРВЫЙ ОТЗЫВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Самое первое упоминание о «Подпольной России» в печати на русском языке появилось в эмигрантской газете «Вольное Слово», выходящей в Женеве под редакцией М. П. Драгоманова, известного украинского общественного деятеля, профессора киевского университета, вынужденного эмигрировать в Швейцарию. Кравчинский относился к Драгоманову с большим уважением, несмотря на частые расхождения во взглядах. Среди колонии политических эмигрантов в Швейцарии Драгоманов занимал особое место: вначале, благодаря своему выдающемуся уму и обширным познаниям, он пользовался безусловным авторитетом, но впоследствии из-за своего крайнего национализма и тяжелого характера восстановил против себя почти всех русских эмигрантов. Один Кравчинский всегда защищал его от нападков, даже когда считал его неправым, ценя его искренность и непоколебимую верность своим убеждениям.

К началу 80-х годов Драгоманов резко выступал против террора, но еще недавно склонен был поддерживать его. «Когда Сергей Кравчинский после убийства Мезенцева приехал в Женеву, — вспоминает современник, — Драгоманов, встретившись с ним, обратился к нему со словами: „Позвольте позжать вашу мужест-

венную руку“» \*. Драгоманов резко осуждал Исполнительный комитет «Народной Воли» за централизм и якобинство, но его нападки, большей частью справедливые по существу, вызывали протест среди русских революционеров из-за резкости, которая иногда переходила все границы и порочила все русское революционное движение целиком.

Так получилось и с его отзывом о «Подпольной России».

В «Вольном Слове» № 42 от 1 августа 1882 года Драгоманов поместил большую статью «Итальянская книга о русских революционерах». Хотя статья была напечатана без подписи, все знали, что написал ее Драгоманов.

Драгоманов буквально обрушился на книгу. Заявив вначале, что «интерес книжки для русских читателей заключается главным образом в ее теоретической стороне, где автор освещает, с своей точки зрения, смысл самого движения, причины последовательно наступивших изменений в его характере и направлении и надежды своей партии», — далее Драгоманов в издевательском тоне опровергал точку зрения автора и высмеивал его слабость именно в теоретическом отношении.

Особенно яростно ополчился Драгоманов на очерки о революционерах. Он писал, что «типы очерчены так неясно и бледно» и как главное обвинение выдвигал отсутствие правдивости:

---

\* В. К. Дебагорий-Мокриевич. М. П. Драгоманов. (Из воспоминаний) в сб.: «За сто літ. Матеріали з громадського і літературного життя України ХІХ і початків ХХ в.». Кн. І, Київ, 1927, стр. 276.

«лишенные художественности, очерки г. Степняка лишены еще одного достоинства, которое могло бы придать им большое значение: в них нет правдивости — не той, конечно, которая исключает ложь, а другой, исключающей односторонние и предвзятые взгляды... Г. Степняк относится к описываемым им людям не только с любовью революционера и друга, но со своего рода поклонением. Он пишет не биографию дорогих ему личностей, ошибки и слабости которых он знает, но прощает и даже любит; он пишет похвальное слово, восторженный дифирамб».

Драгоманов опровергал Лаврова по всем пунктам, отрицая ценность книги как исторического документа, отрицая художественный талант автора, отрицая правдивость его изложения, именно то, что Лавров назвал «достоверной картиной революции».

Осуждая современное ему русское революционное движение, Драгоманов сурово осуждал и книгу о нем. Утверждая объективность своей оценки, Драгоманов писал: «тот непрофессиональный, *отщепенский* характер, какой имело новейшее социально-революционное движение в последнее десятилетие, надо признать осужденным опытом». Далее, уже совершенно в либеральном духе, он утверждал: «Будущее принадлежит движению не отщепенскому, не *непрофессиональным* революционерам, которые естественно обращаются в *подземных* революционеров по профессии, бессильных вне своей узкой среды, а движению *земскому*, руководимому людьми полезного земле труда, людьми, известными земле...»

Хотел или не хотел этого Драгоманов, но в его статье читатель явно мог ощутить не только его отношение к русским революционерам как к идейным противникам (хотя все они были социалистами), но и просто презрение к ним как к людям...

Да, действительно, Кравчинский был прав, когда писал впоследствии, что «Вольное Слово» его книгу «заплевало совсем»...

Но Драгоманов не политиканствовал, он был искренен в своих суждениях и оценках. Точно такие же суждения, как в печатной статье, он излагал и в письме к самому Кравчинскому, начиная его с обращения «Дорогой друг» (письмо без даты, но вероятно, май — июнь 1882, из Женевы в Милан): «Книжку Вашу у меня отбрали читатели, когда я начал только читать вступительные главы. Биографии же я читал в газете и судить о них не берусь, ибо не знаю большей части лиц. Те же, которых знаю: Ст[ефанович], Кр[опоткин], В[ера] З[асулич] кажутся мне идеализированы. Вообще, биографии производят на меня впечатление патерика, — да, впрочем, может быть, оно там так и нужно» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 285, л. 85).

Последнее замечание Драгоманова в высшей степени любопытно. Сравнивая очерки Степняка о революционерах с патериком, то есть жизнеописаниями святых отцов церкви, обычно составленными в хвалебном тоне, Драгоманов сам признается: «может быть, так и нужно!» Вероятно, это сомнение у него появилось в силу непосредственного первого впечатления, но потом он всегда видел в

этом отрицательную сторону книги Кравчинского.

В конце 1885 года, сообщая свое мнение о переводе «Подпольной России» на французский язык, Драгоманов писал Кравчинскому, что целиком одобряет его новое заключение, написанное специально для данного издания, но отмечая, что в «середнине» книги он изменений не нашел, опять повторяет свой упрек: «Для знающего дела и лица, крайняя идеализация в середине... составляет слабую сторону и первого издания,—и эта сторона еще более выступает при чтении перевода с послесловием и после таких фактов, как речи Ст[ефановича]... на процессах, окончательно выясняющие, что у Ваших героев, у многих по крайней мере, было все кроме ясности в головах и даже искренности в сердцах...» (письмо от 5 декабря 1885, из Женевы в Лондон, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 285, л. 7).

Уже много лет спустя, 25 декабря 1893 года Драгоманов писал своему другу Михаилу Павлыку из Софии во Львов, где Павлык выпускал вместе с Иваном Франко газеты «Народ» и «Хлебороб» и рекомендовал своим читателям издание «Подпольной России», вышедшее на русском языке,— что он не знает русского перевода книги, «про итальянский же оригинал и я скажу (что сказал Степняку в лицо) и всякий неослепленный свидетель, кто хоть в Женеве знал оригиналы „профилей“ Степняка, скажет, что книга его наименее грешна объективностью: она до скандалу богомазна и часто наивна так, что сама себя бьет. Да и с других сторон, это наихудшая книга Степняка, а теперь вы ее рекомендовали молодым людям,

которые и Якова Стефановича примут за объективно-нарисованного Геркулеса. Скандал!» \*

Мы еще вернемся к этой длинной и жаркой дискуссии о правдивости книги Степняка, а пока только отметим, что сам Кравчинский несколько не изменил своего хорошего отношения к Драгоманову (так же, как и Драгоманов к Кравчинскому!), постоянно с ним переписывался, советовался, отдал ему свой очерк о Софье Бардиной, несмотря на то, что более близкие друзья просили этот очерк для своих изданий, всегда защищал его от всех нападок.

#### ЖАНДАРМЫ О «ПОДПОЛЬНОЙ РОССИИ»

Мы помним, что, создавая «Подпольную Россию», Кравчинский постоянно думал и о таких возможных ее читателях, как царская полиция. Именно поэтому многое он должен был опустить, о многом умолчать, многие очерки исключить из книги совсем. На все тревоги друзей он отвечал, что ничего опасного в его книге не будет.

И, действительно, высшие полицейские власти обратили внимание на «Подпольную Россию». Сам оберпрокурор святейшего синода, всемогущий Победоносцев заинтересовался этой книгой и указал на нее своему подручному — командиру корпуса жандармов П. В. Оржевскому.

---

\* Переписка Мих. Драгоманова с Мих. Павлыком (1876—1895). Т. VIII. Черновицы, 1911, стр. 6.

4 октября 1882 года Оржевский, отвечая Победоносцеву, писал ему:

«Милостивый государь Константин Петрович!

Указанная Вашим Высокопревосходительством книга имеется у меня и была рассмотрена. По имеющимся сведениям, под псевдонимом «Степняк» кроется автор Кравчинский, известный государственный преступник. Цель этого издания преимущественно спекулятивная, и полезных разоблачений в следственном значении книга эта в себе не заключает.

Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга

Петр Оржевский» \*

Если уж командир корпуса жандармов не нашел ничего для себя «полезного» в книге, то можно сказать, что действительно Кравчинский сумел соблюсти крайнюю осторожность.

Все же Департамент полиции понимал значение этой книги и счел необходимым включить сведения о ней в свое специальное строго секретное издание о революционном движении в России, выходившее каждые полгода (впоследствии — раз в год). Итак, в «IV Обзоре важнейших дознаний, производившихся в Жандармских Управлениях Империи за время с 1 мая по 1 сентября 1882 года по делам о государственных преступлениях» в специальном разделе «Сведения о деятельности русской революционной эмиграции» на стр. 79 читаем:

«Здесь же следует упомянуть о книжке, явившейся в Милане на итальянском языке и

---

\* К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. Т. I, полутом 1. М.—Л., ГИЗ, 1923, стр. 271.



озаглавленной «Подземная Россия». Предисловие к ней написано Петром Лавровым, но собственное свое имя автор скрыл под псевдонимом «Степняка». В книжке этой, кроме личных воспоминаний автора, называющего себя бывшим редактором «Земли и Воли», о главных деятелях социально-революционного сообщества, помещено несколько глав и о самой деятельности сообщества, а также заключение с изложением предположенных в будущем действий террористического кружка. Программа эта вполне подтверждает сведения о видах сообщества, изложенные в первых главах как предыдущего, так и настоящего Обзора. Есть основания предполагать, что книжка написана Сергеем Кравчинским, известным убийцей Генерал-Адъютанта Мезенцева. Кравчинский вместе с сожительницей своей Фанни Личкус... находится в настоящее время в Париже».

Полицейские чиновники подтвердили достоверность сведений, изложенных в книге русского эмигранта. Зато сами, как нередко бывало, обнаружили свою неосведомленность, утверждая, что Кравчинский находится в Париже, тогда как он в это время был в Милане...

Во всяком случае, ясно видно, как внимательно штудировали жандармы «Подпольную Россию».

## **М. Н. КАТКОВ И ДРУГИЕ**

Вряд ли Кравчинский и надеялся, что русский читатель узнает о его книге. Какой журнал или газета осмелится написать о «Подпольной России»?

Но вот он получил письмо от Лаврова из Парижа, датированное 30 ноября (1882 года), где, после всяких предположений о выпуске за границей революционного журнала, Лавров сообщил Кравчинскому:

«Я сегодня получил известие, что в „Русском вестнике“ есть разбор Вашей «Подпольной России». Но я не знаю здесь ни одного человека, который получал бы „Русский вестник“» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 327, л. 2 об.).

Да, вряд ли кто из русских политических эмигрантов тратил деньги для выписки «Русского вестника», одного из самых реакционных журналов, издаваемого известным мракобесом и монархистом М. Н. Катковым...

8 декабря 1882 года Кравчинский, отвечая Лаврову, в постскриптуме приписал: «О Русском Вестнике знаю. Если попадется как-нибудь — пришлите: статейка, должно быть, прелезавная» (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, ед. хр. 425, л. 38 об.).

Прежде всего, надо сказать, что статейка в «Русском вестнике» была преогромной: 35 страниц почти сплошь мелким шрифтом были заняты рецензией на книгу Степняка в томе 161 журнала за октябрь 1882 года. Рецензия была подписана двумя латинскими буквами «LX» — их можно было считать и римской цифрой «60», и помечена: «Пельи, близ Генуи 3(15) октября».

Что же касается ее содержания, то она была не столько «презавной», сколько «препакостной».

Однако любопытно, что рецензент в свою очередь тем же словом характеризует книгу, в

которой, как он пишет, «мы находим столь же много забавного, сколько и поучительного»...

Рецензент очень подробно излагает содержание книги, цитируя ее целыми страницами. Целиком приводится и характеристика террориста, и описание нелегальной типографии, и история побега Дейча, Стефановича и Бохановского из Киевской тюрьмы, и многие другие эпизоды.

Но особенно подробно останавливается рецензент на тех главах, где Степняк описывал отношение общества к людям революции. Он целиком приводит (в своем, довольно топорном переводе) рассказы о помощи «легальных» революционерам — о сборе денег, о подписке на подпольные издания, о сочувствии самых разных слоев населения, из которых революционеры и вербовали свое пополнение, о тех, кто помогал революционерам, укрывая их от преследований полиции, снабжая паспортами, деньгами и т. п.

И, основываясь на рассказах Степняка, рецензент делал вывод, что между революционерами и либералами нет почти никакой разницы и последних надо преследовать столь же неукоснительно, как и первых.

Громы и молнии обрушивал рецензент на русских людей, которые смели сочувствовать крамольникам. Напрасно, мол, либералы клянутся в своей лояльности, — ловил с поличным либералов рецензент «Русского вестника»: «Что скажут они в настоящую пору, после тех решительных откровений их подпольных союзников, которые находим мы в книге „бывшего редактора Земли и Воли“? Не указывает ли

прямо этот enfant terrible русского революционерства на „поддержку“ дела его „партии“ со стороны „легального“ конституционного лагеря...»

И уж после этих громов и молний бледными кажутся те эпитеты, которыми наделяет рецензент автора книги и его друзей, описанных им.

Рецензент называет Степняка «Маниловым русского терроризма» и тут же определяет его деятельность как «хлестаковщину». А персонажей его очерков он называет «беспардонными маниаками», «отпетыми людьми», «холодными злодеями» и т. п.

В рецензии утверждается, что Степняк абсолютно лишен литературного дарования и его книга представляет интерес только в тех главах, где дается простое изложение фактов.

Для подтверждения своих выводов рецензент ссылается — увы! — на статью Драгоманова. Он злорадно отмечает, что «Подпольная Россия» подверглась «строгому осуждению даже со стороны другого русского политического агитатора г. Драгоманова».

Но, не уделяя автору книги особенно много внимания, рецензент опять и опять возвращается к «крамольному» русскому либеральному обществу, самые вредные гнезда которого сосредоточены в Петербурге. Он перебирает все бранные слова, какие только может найти для интеллигенции, в среде которой террористы находят «преданных сочувственников, доброхотов и влиятельных покровителей. Она же доставляет им „материальные средства“ для беспрепятственного устройства этих „взрывов“ и

ных предприятий, имеющих „покрыть Россию трупами“... Так и будем знать!» — в тоне уже прямой угрозы заканчивалась рецензия. (Любопытно отметить, что в экземпляре «Русского вестника», который я читала в Библиотеке имени Ленина, вся эта статья испещрена негодующими карандашными пометками, сделанными — судя и по орфографии и по содержанию — до революции, а может быть, даже и вскоре после выхода журнала. В самом конце, против последней строки, стояло: «Ну и знайте, господа Катковы!»)

Совершенно недвусмысленно вся рецензия на «Подпольную Россию» содержала не больше не меньше как призыв принять суровые меры против всех либерально настроенных, против всей интеллигенции и особенно — против петербургской как самой радикальной.

В Петербурге откликнулись на этот выпад. Газета «Новое время» в номере 2403 от 5(17) ноября 1882 года в разделе «Среди газет и журналов» сообщает о рецензии на «Подпольную Россию» в «Русском вестнике», приводит оттуда — довольно бесстрастно, надо сказать, — строки, что, мол, нигилисты любят Петербург, и почти целиком приводит цитируемые в журнале главы об укрывателях и о заговорщиках.

Но газета «Голос» приняла вызов и пошла врукопашную. В редакционной статье номера 303 от 7(19) ноября, полемизируя с «Московскими ведомостями» (газета, издаваемая также М. Н. Катковым), задевшими «Голос», который, мол, постоянно жалуется на стеснение свободы, редакция «Голоса» указывает на рецензию «Русского вестника», как написанную

с тою же целью — припугнуть тех, кто добивается большей свободы и стоит за правовой порядок.

Защита ведется весьма своеобразно. Редакция «Голоса» изображает себя еще более верной охранительницей устоев, чем органы Каткова. Мол, русский читатель и не узнал бы без «Русского вестника» о столь незначительном явлении, как «Подпольная Россия». Разбитые наголову русские революционеры-эмигранты могут привлечь внимание к своей проигранной игре только вычурными эффектами, преувеличениями и выдумками. Автор книги черпает свои легенды из «мутного источника». Мы-то, мол, отлично знаем, что русские революционеры — «умы фанатизованные, но крайне слабые, остановившиеся на самой низкой ступени развития».

Далее редакция «Голоса» заверяла своих читателей, что общество уже давно успокоилось, видя ничтожность «крамольников», а, мол, «Русский вестник» снова твердит об изменниках в Петербурге для возбуждения гонений на правовой порядок.

Через несколько дней — 18(30) ноября в номере 314 литературный обозреватель «Голоса» Арсений Введенский в своем очередном обзоре «Литературная летопись» снова возвращается к рецензии «Русского вестника», защищая интеллигенцию от его нападок. В этой защите он применяет довольно оригинальный прием. Он доказывает, что по существу и Степняк и Катков относятся к русской интеллигенции — «одинаково»! Крайности, мол, сходятся! Степняк пренебрежительно описывает

интеллигенцию как трусливую мелюзгу, а катковцы пренебрежительно третируют ее как верную пособницу «крамольников». «Настанет же время,— патетически заключает Арс. Введенский,— когда лучшие элементы общества сумеют разочаровать и „охранителей“ и „разрушителей“, сумеют убедить их, что общество живет и мыслит...»

Все эти газетные рецензии также были аккуратно подклеены в архиве Кравчинского. Вероятно, кто-нибудь из друзей прислал их ему из России.

А все же, хоть таким путем, но в России узнали о его книге...

# КНИГА ПРИШЛА НА РОДИНУ

*...беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы...*

В. И. Ленин. «Памяти Герцена»

## «ПОДПОЛЬНАЯ РОССИЯ» В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Однако Кравчинский все время мечтал увидеть свою книгу на русском языке в руках у русского читателя.

Вынужденный в конце 1882 года уехать из Италии, где местная полиция слишком стала им интересоваться, Кравчинский снова очутился в Женеве. Здесь, кроме других дел, он всячески пытался организовать издание «Подпольной России» на русском языке. Он с горечью писал жене, оставшейся в Милане: «Перевод на русский *Sottogane*, кажется, провалится: ни в одной по крайней мере типографии нет подходящих для нее шрифтов, потому что слишком мелким, громадским например, печатать нельзя...» (письмо от 30 декабря 1882 г., ф. 1158, оп. 1; ед. хр. 757, л. 86—87).



С русским шрифтом за границей эмигрантам было все время очень трудно, но еще труднее было с деньгами. Кравчинскому так и не удалось тогда выпустить свою книгу на русском языке. И только очерк о Перовской да рассказ Анны Эпштейн Кравчинский перевел в 1883 году для «Календаря Народной Воли на 1883 год», который вышел в Женеве.

Но и в России были люди, которые хотели издать его книгу на русском языке.

Летом 1882 года группа московских студентов решила издавать революционную литературу. Организовалось нелегальное Общество переводчиков и издателей. Они собирались издать сборник антирелигиозных песен, «Исторические письма» Лаврова, речь Бардиной на процессе 50-ти, речь Мышкина на процессе 193-х, запрещенные сочинения Льва Толстого, Салтыкова-Щедрина, решили издавать и переводную революционную литературу. Стали переводить произведения Маркса, Энгельса, Лассалья.

Настоящие типографии были им недоступны, и они использовали литографию, в которой печатались лекции для студентов. Так, литографским способом, одну за другой стали издавать они революционные книги и брошюры.

В 1884 году Общество переводчиков и издателей выпустило небольшой тетрадкой в литографском издании перевод введения (т. е. первых трех глав) из «Подпольной России» Степняка.

Аккуратно переписанная для литографии и довольно четко напечатанная (я видала экземпляры этого литографированного издания в Отделе редких книг Государственной библиотеки

СССР им. В. И. Ленина и в Центральном Государственном Архиве Октябрьской революции) — эта брошюра широко распространялась в революционной среде\*.

На процессе народовольцев в Киеве в ноябре 1884 года это литографское введение к «Подпольной России» было целиком зачитано по требованию подсудимых как выражение их взглядов.

В № 11—12 журнала «Народная Воля», вышедшем в октябре 1885 года, этот факт был специально отмечен\*\*.

Несмотря на обыски и всяческие запреты, литографированная «Подпольная Россия» еще долго жила среди молодых русских революционеров (я расскажу об этом дальше).

И только много лет спустя, в 1891 году, когда в Лондоне по инициативе русских политических эмигрантов — Степняка, Н. Чайковского, Ф. Волховского, Л. Шишко и М. Войнич — был создан Фонд Вольной Русской Прессы, Степняк снова вернулся к своей мечте.

Михаил Войнич писал 24 июня 1891 года старому приятелю Кравчинского — Лазарю Гольденбергу, тоже эмигранту, жившему в Нью-Йорке, об издательских планах Фонда: «Затем, если кто-нибудь даст специально деньги на издание романа Степняка и его Подпольной России, то он сам их переведет» (ЦГАОР). Михаил Войнич имел в виду роман Степняка «Андрей Кожухов», написанный им по-английски

---

\* П. Анагольев. Общество переводчиков и издателей. — «Каторга и ссылка», 1933, № 3 (100), стр. 29.

\*\* См.: «Литература партии «Народная Воля». М., 1930, стр. 259.

и вышедший в Лондоне в 1889 году под названием «Карьера нигилиста». (На русском языке этот роман появился только в 1898 году после гибели Степняка, в переводе его вдовы; он был издан в Женеве Верой Засулич и Плехановым.)

С трудом «фондисты» собирали русский шрифт; деньги доставали с еще большим трудом. Только к началу 1893 года набралась сумма, достаточная для того, чтобы приступить к изданию «Подпольной России», остальную сумму намеревались собрать по предварительной подписке.

Несмотря на то, что летом 1893 года Михаил Войнич объездил буквально всю Швейцарию в поисках русского шрифта,— ему не удалось достать его столько, сколько было нужно для издания. Приходилось печатать книгу частями. 29 июля 1893 года Степняк писал Вере Засулич: «...так как шрифта в типографии мало, то печатается лист за листом»\*, то есть набор напечатанного листа рассыпали и этим же самым шрифтом набирали следующий.

Это создавало огромные трудности, исправлять что-либо было невозможно.

Немалые трудности возникали и у самого Степняка при переводе. Он не просто переводил, а многое и менял. Во-первых, необходимо было написать новое заключение, дать в нем анализ современного этапа революционного движения в России, наметить его перспективы. Необходимо было, как мы видели, внести добавления в очерк о Стефановиче.

---

\* Группа «Освобождение труда». Сб. № 1, стр. 240.

Так как рукописи почти не сохранились, я сверила русский текст книги с итальянским оригиналом и переводами на английский и французский.

Видно, что Кравчинский проделал большую работу при переводе на русский — отшлифовывал фразу, подыскивал новые сравнения, ясно видя перед собой русского читателя.

Так, например, если во всех иностранных изданиях, желая определить остроумную живую речь Дмитрия Клеменца, всегда понятную самому необразованному темному мужику, Кравчинский сравнивал его с известным итальянским поэтом-сатириком Джустини, то в русском переводе он пишет об «изумительном, крыловском мастерстве» Клеменца.

В рассказе о богатейшем помещике, владельце многочисленных имений Дмитрие Лизогубе, отдавшем все свое состояние на дело революции, для характеристики его бережливости по отношению к самому себе Кравчинский писал в итальянском оригинале: «как Гарпагон», имея в виду известный образ скупого, созданный Мольером. Это же сравнение осталось и в английском и во французском переводе. В русском тексте Кравчинский пишет: «с ревливой заботливостью Плюшкина».

Все даты, приводимые в западноевропейских изданиях по новому стилю, Кравчинский в русском тексте переводит на старый стиль.

Большинство имен, зашифрованных в европейских изданиях вымышленными именами или инициалами в целях осторожности, теперь, десять лет спустя, в русском издании Кравчинский расшифровывает.

Так, вместо «синьоры N», талантливой художницы, члена партии „Земля и Воля“, Кравчинский ставит ее настоящее имя — Александра Малиновская — и в сноске объясняет: «Арестована зимой 1879 г. Умерла в казанском доме умалишенных». (В дате он, как часто бывало, ошибся — А. Малиновская была арестована 12 октября 1878 года.)

Он раскрывает также имя «синьоры R» — Маши Коленкиной.

В очерке о В. Осинском вместо «синьоры N» появляется имя одной из старейших семидесятниц, члена кружка чайковцев, а потом и партии «Земля и Воля» — Ольги Натансон.

В очерке о тайной типографии, говоря об «одном из наших друзей», который спасся однажды от неминуемого ареста благодаря своей находчивости, Кравчинский в русском тексте раскрывает имя знаменитого Александра Михайлова.

Во вступлении к «Поездке в Петербург» вместо вымышленного имени «Базиль» Кравчинский раскрывает имя своего друга — Николай — и в сноске снова воскрешает одно из известнейших имен: «Николай Морозов, по слухам, умерший в Шлиссельбурге». (А Николай Морозов не умер, после революции 1905 года был освобожден из Шлиссельбурга, после Октябрьской революции был избран почетным членом Академии наук СССР, в своих мемуарах «Повести моей жизни» посвятил немало восторженных страниц своему любимому другу — Кравчинскому, которого он пережил на пятьдесят лет...)



Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский



Вместо мифического «Жана» появляется Владимир Иохельсон, вместо «Бетти» жена Николая Морозова — Ольга Любатович и т. п.

Восстановление подлинных имен придавало книге еще бóльшую историческую ценность.

Только в русском тексте появились чеканные строки в характеристике русского террориста, похожие на стихотворение в прозе или, вернее, на былинные стихи: «Если он родился смельчаком — в этой борьбе он станет героем; если ему не отказано было в энергии — здесь он станет богатырем; если ему выпал на долю твердый характер — здесь он станет железным». В итальянском оригинале было: «если он был сильным — он становился железным, если он был железным — он становился алмазным». Во французском переводе: «Природа закалила его характер для огромных усилий. Он стал героем. Она сделала его железным. Он стал алмазным». Очевидно, насколько русский текст — выразительнее.

(Об изменениях в очерке о Стефановиче мы уже говорили.)

Друзья с нетерпением ожидали «Подпольную» на русском языке. Деловитый Л. Гольденберг уже с начала 1893 года собирал подписку на нее в Америке и энергично сетовал на задержку с ее выходом. Н. Чайковский писал ему из Лондона 3 сентября 1893 года: «Претензия твоя на медленность печатания Подпольной России — имеет, конечно, свое основание, но не могли же и мы зарезаться из-за 15 фунтов стерлингов, которые нам дали все подписчики, когда издание книги стоило около 80 фунтов. Ведь их надо откуда-нибудь взять, да и других работ



и шансов нельзя забросить из-за одной этой книги, которая с переделками и добавлениями Сергея вышла не в 7—8 листов, как ожидалось, а почти в 12 листов. Теперь она уже совсем окончена...» (ЦГАОР).

Через несколько дней — 28 сентября — Михаил Войнич писал тому же Гольденбергу в Нью-Йорк: «...Лили (жена) больна сильно, извиняется, что не пишет, крепко жмет Вам руки, говорит, что Вы очень и очень милый товарищ. А если не доставите 300 подписчиков на такую интересную книгу, то она, во-первых, поругается, а во-вторых, приедет в Чикаго на выставку, покажет, как она умеет продавать русские издания и потом, понятно, помирится!!! Но шутки в сторону, Underground Russia — одна из лучших вещей в русской нелегальной литературе и имеет особенное значение ввиду того, что теперь публика, молодежь совсем понятия не имеет о прошлом движении. Она переведена на шведский, французский, немецкий, голландский, датский, английский, даже частью на жаргон, а нету еще по-русски, что за срам» (ЦГАОР).

Итак, в конце 1893 года, в Англии появилась на свет «Подпольная Россия» на русском языке.

Было издано пять тысяч экземпляров.

Для Америки и Западной Европы книгу печатали на обычной плотной бумаге. Это издание можно было приобрести на складах Фонда Вольной Русской Прессы в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Кроме того, издания Фонда продавались в книжных магазинах или у частных лиц почти во всех странах мира. На обложках изда-

ний Фонда было указано пятьдесят пять адресов в Бельгии, Болгарии, Германии, Испании и многих других европейских странах, а также в Южной Африке, Аргентине и Японии — где можно было купить все издания Фонда и «Подпольную Россию».

Часть книг была выпущена в хорошем переплете с портретами Степняка, Засулич, Перовской и Осинского.

Портрет Степняка — фото конца 80-х годов, сделанное в Лондоне, в ателье «Эллиот и Фрей», — доставил друзьям большую радость. (Этот же портрет помещен на фронтисписе нашего издания.)

Вера Засулич, обычно такая сдержанная, написала по этому поводу своему другу большое письмо.

«Милый Сергей, сегодня получили мы переплетенный экземпляр «Подпольной России», и совершенно неожиданно оказалась там Ваша физиономия. Мне ужасно понравилась, очень похожа, с такой особой миной, когда Вы шутя надуетесь, обижены. Мне припоминаются разные даже случаи, когда у Вас была такая мина. Что-нибудь съесть Вам не дадут, или за что-нибудь Вас ругают, а Вы оттопырите губы и выглядываете исподлобья и даже руками что-то загребли, что у Вас хотят отнять.

Только я думаю, кто Вас никогда не видал, получит курьезное понятие о Вашей физиономии. Или Вы теперь всегда таким ходите?

Отличный портрет. Только мы за него с Жоржем, пожалуй, передеремся. Книжка одна такая, и неизвестно кому принадлежит. Уж соблаговолите прислать другую с портретом или

еще лучше: ту фотографию, с которой отпечатан портрет. Пожалуйста. [...] А она, наверно, мало кому могла доставить столько удовольствия, сколько мне. И ведь не видала я Вашей физиономии уже лет девять. А Вы очень мало переменялись, почти совсем такой же, как прежде».

Далее в своем письме Вера Засулич касается сложных взаимоотношений группы «Освобождение труда» и Фонда Вольной Русской Прессы и выражает уверенность, что эти отношения не отразятся на их дружбе: «Нельзя нам с Вами поссориться ни из-за каких фондов и ни из-за какой политики. Я в этом особенно уверена, смотря на Ваш портрет, так Вы с него мило выглядываете и столько всякой всячины вспоминается, смотря на него». (Письмо без даты, но написано в ноябре 1893 года. ЦПА ИМЛ, ф. 262, оп. 1, ед. хр. 50, л. 6—8.)

Для России книга была напечатана на тонкой бумаге. Чтобы ее легче было провозить нелегально из Лондона.

За два года своей деятельности Фонд Вольной Русской Прессы хорошо наладил доставку нелегальной литературы в Россию. Михаил Войнич, ведавший деловыми отношениями Фонда, оказался прекрасным организатором. Тюки запрещенной литературы переправлялись и через контрабандистов, и через матросов английских судов, ходивших в Россию, и просто по почте на верные адреса. Часть тюков попадала в руки полиции, но большинство доходило благополучно.

Так русские революционеры получали издания группы «Освобождение труда», переводы

книг Маркса и Энгельса на русский язык и первые издания самого Фонда.

Так и «Подпольная Россия» появилась в Российской империи, помогая ускорить ее падение...

## КНИГА ВЕРБУЕТ КАДРЫ РЕВОЛЮЦИИ

Мемуары, исторические документы, полицейские материалы сохранили немало свидетельств воздействия «Подпольной России» на своих читателей. Часто эта книга давала первый толчок к мыслям о борьбе с самодержавием, заставляла сделать первый шаг на революционном пути.

Старый большевик В. Н. Соколов в своей автобиографической книге «Партбилет № 0046340» оставил яркую страницу воспоминаний о своих первых шагах в революцию. В 1889 году он, пятнадцатилетний парнишка, сын солдата, получил от одного товарища первую нелегальную книжку, напечатанную на гектографе. «От Петровича летел домой, как на крыльях,— вспоминает В. Н. Соколов.— Пустые ночные улицы наполнены были только одним желанием: скорее остаться одному дома. Под рубашкой у самого тела спрятано было то, что без книжных подходов, экивоков и околесины хватывало быка за рога. Подпольная Россия — толстая тетрадь, обещавшая немедленное раскрытие всех тайн... Напечатана слепо. Фиолетовые мохнатые буквы, как налитые водой. Пальцы приклеиваются к листкам и оставляют на них следы. Но это неважно. Когда начинаешь читать, то слова сами становятся ярче,

их слепота исчезает куда-то. И нет желания оторваться.

Читал до утра и утром за чаем. Пружинят в голове новые мысли. И хочется скорее дойти до конца, чтобы собрать вместе все, что возбуждено».

Далее он рассказывает о драматической схватке с отцом, который отобрал у него эту тетрадь, потребовал сжечь ее, угрожал донести в полицию, о том, как он вырвал тетрадь у отца и убежал из дома \*. Затем — подпольные кружки, вступление в партию большевиков, борьба...

Другой старый большевик, академик С. Г. Струмилин, в своих мемуарах рассказывает, как встретился с «Подпольной Россией» юноша совсем иного круга — студент Петербургского электротехнического института. Это было в 1897 году. Молодой студент, охваченный желанием служить революции, связался с подпольем, вызвался вести рабочие кружки. «Чтобы стать пропагандистом и учить чему-то рабочих, надо было самому много знать. Институт не мог мне дать нужных для этого знаний. Я должен был сам их приобрести. Очень скоро у меня на столе очутились... нелегальные издания: «Эрфуртская программа» Каутского, «Русский рабочий в революционном движении» Плеханова, «Женщина и социализм» Бебеля, «Подпольная Россия» Степняка и тому подобная литература. Трудно передать все очарование, которым повеяло от этих первых для меня откровений свободного слова,

---

\* В. Н. Соколов. Партбилет № 0046340. Записки старого большевика. М., «Старый большевик», 1932, стр. 69—71.

где все вещи назывались своими именами, без всяких эзоповских экивоков и маскировки, к каким нас приучила царская цензура, что мы уже и не замечали присущего им *рабьего* привкуса. Однако эти немногие яркие откровения не утолили, а лишь еще более обострили и разожгли мою жажду знаний и все возрастающий интерес к специальной области наук общественно-экономических» \*.

Так студент стал революционером, ученым, академиком.

(Любопытно, что такие разные люди рассказывают о своих первых впечатлениях знакомства с нелегальной литературой почти одинаковыми словами: без экивоков, раскрытие всех тайн, яркие откровения и т. п.)

Лирически описывает свою первую встречу с «Подпольной Россией» старая большевичка Ф. И. Драбкина: «В жаркий майский день 1899 года мы с моей подругой Аней Б. забрались на чердак ее дома, где не пекло солнце, чтобы вместе готовиться к экзаменам по естествознанию. Когда у нас распухли головы от зазубривания количества тычинок и пестиков у цветков и числа позвонков у разных млекопитающих, Аня вытащила с таинственным видом небольшую потрепанную книжечку. Это была „Подпольная Россия“ Степняка-Кравчинского, запрещенная царским правительством.

Мы с жадностью набросились на нее. Из этой маленькой книжечки мы узнали о „Народной Воле“ — нелегальной партии, ставившей себе

---

\* С. Г. Струмилин. Из пережитого. 1897—1917 гг. М., Госполитиздат, 1957, стр. 53.

целью убийство царя, чтобы избавить народ от страданий, о людях — героях и мучениках — „Народной воли“, которые жертвовали жизнью для блага народа. Особенно привлекли меня образы Софьи Перовской и Геси Гельфман. Обе они отдали революции свои молодые жизни.

Я тут же решила пойти по их пути» \*.

Затем она рассказывает о своем знакомстве с ссыльным социал-демократом, который разъяснил ей необходимость новых путей борьбы.

В письме ко мне Ф. И. Драбкина еще подробнее рассказывает о впечатлении от «Подпольной России»: «Это была первая нелегальная книжка, открывшая передо мною новый, неизвестный мне до этого мир — мир революционного подполья. Я ненавидела несправедливость, гнет и насилие во всех проявлениях... Вы поймете психологию подростка, который находится в постоянном конфликте со всей средой, в которой он вынужден жить — в семье, школе, во всем окружающем мире. И вдруг он узнает, что на насильников есть управа, что с ними можно бороться, знакомится с конкретными людьми, которые вели борьбу. Перед ним открывается новый мир. Этим людям начинаешь завидовать хорошей завистью, хочется и самой сделать что-нибудь большое..., хочется быть такой же смелой, бесстрашной, как Гесья Гельфман, Софья Перовская, — их образы особенно сильно овладели мною.

Естественно, что по силе воздействия никакая другая книга не могла

---

\* Ф. И. Драбкина. В большевистском подполье. — «Юность», 1956, № 5, стр. 96.

сравниться с „Подпольной Россией“...» (письмо от 25 июня 1956 года).

«Подпольная Россия» была также первой нелегальной книгой, прочитанной в это же время в Нижнем Новгороде другой молодой девушкой, будущей женой отважного сормовского большевика Петра Заломова, явившегося прототипом героя романа М. Горького «Мать».

Ж. Э. Заломова писала мне в письме от 19 июня 1961 года: «Моя первая нелегальная книга. Это была „Подпольная Россия“ Степняка. Прочитала я ее в 17 лет. Принес мне ее революционно настроенный студент.., сказал, что нелегальная.., читала я ее, конечно, ночью одна и потом прятала... При чтении ее возникали героические образы членов „Народной воли“, которые звали на борьбу, пробуждали стремление участвовать в политической жизни.

Впечатление было самое неотразимое».

Такое отношение к «Подпольной России» было вовсе не единичным. Об этом убедительно свидетельствует письмо в редакцию журнала «Рабочая мысль», опубликованное в 1900 году в феврале в № 8 журнала на странице 10. В этом письме автор его, подписавшийся — «Рабочий-практик», сетует на сухой непонятный язык статей, помещаемых в журнале, и говорит о широте запросов русского рабочего, о сознании им своего гражданского долга, о его самоотверженности и добавляет: «Может быть, вам покажется смешным, мм. гг., тот факт, что рабочие зачитывали, например, до дыр народвольческую брошюру „Подпольная Россия“



и жили вместе с ее героями, забывая всякие опасности и трудности настоящего».

Показательно, что это письмо тогда же отметили и одобрительно цитировали и В. Засулич и Г. Плеханов\*.

А в 1903 году большевистская типография в Баку (так называемая «Нина»), в которой печаталась «Искра», выпустила отдельной книжечкой очерк о Софье Перовской. На верху обложки книжечки значилось: «Российская социал-демократическая рабочая партия». Чуть пониже — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и дальше шло уже название — «Софья Перовская. С. Степняка», а внизу стояло: «Издание Центрального комитета Р. С.-Д. Р. П. 1903».

Когда каждая нелегальная пропагандистская страничка была на вес золота, а издание ее было связано с огромным риском, Центральный комитет РСДРП посчитал, однако, необходимым наряду с прокламациями и «Искрой» издать и отрывок из «Подпольной России». Кроме «профиля» Перовской здесь был напечатан кусок из рассказа Анны Эпштейн и очерк о Гесе Гельфман — всего 32 страницы. Экземпляр этого редкого издания сохранился в библиотеке Института марксизма-ленинизма.

И вполне закономерно, что в 1905 году большевики, составляя программу занятий в крестьянских кружках, среди рекомендуемых пособий назвали и «Подпольную Россию».

---

\* В. И. Засулич. Штундист Павел Руденко.— «Заря», 1901, № 1, апрель; Г. В. Плеханов. Еще раз социализм и политическая борьба. 1901. См. его соч. Т. XII, стр. 97.

В. И. Ленин принимал близкое участие в составлении этой программы и написал редакционную заметку к ней при ее опубликовании в первом номере журнала «Пролетарий» в мае 1905 года\*.

Так книга, рожденная революцией, рождала новых революционеров.

Читали «Подпольную Россию» и на окраинах Российской империи.

Старый большевик Э. М. Меднэ, член Рижского комитета РСДРП в 1905 году, рассказывает в своих воспоминаниях, как он с товарищем, тоже молодым рабочим, Э. Звирбулисом-Путне, впоследствии крупным деятелем большевистского движения в Латвии, начали свой революционный путь в 1903 году в Риге именно с чтения «Подпольной России»\*\*.

В Центральном Государственном Архиве Октябрьской революции в фондах Особого Отдела Департамента полиции я нашла полицейскую копию письма из Тифлиса в Петербург, посланного в 1903 году. Автор этого письма, подписавшийся буквой «Ж.», писал своей приятельнице:

«Случайно мне попалась книжка, озаглавленная „Подпольная Россия“. Если б она принадлежала мне, то я бы, хоть по клочкам, ее

---

\* Ленинский сборник XIX. М., Партиздат, 1932, стр. 467. «Подпольная Россия» рекомендуется рядом с книгой В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» и другими как пособие к лекции на тему «Современный политический строй в России. История борьбы за политическую свободу в России».

\*\* Сб. «Памяти борцов революции». Т. II (на лат. языке) и письмо Э. М. Меднэ к Е. А. Таратута, апрель 1964.

Вам переслал... Я уже прочел ее два раза и с необъяснимым наслаждением перечитываю еще и еще... Готов выучить всю наизусть, если бы только это было мыслимо. Это — краткий исторический очерк, начиная с 40-х годов и до нашего времени. Но как мало похожа эта история на ту, что мы проходили в гимназии... К сожалению, это все деятели 80-х годов, люди, каких теперь уж нет. Они, эти люди, — действительно сумели прожить и умереть так, чтобы даже в последнюю минуту не пожалеть ни об одном совершенном поступке...» (ЦГАОР, ф. 109,00, 1903, ед. хр. 2292, л. 2).

Достаточно было упомянуть о чтении «Подпольной России», чтобы Департамент полиции уже заинтересовался и автором письма и его адресатом, и предпринял розыски для их установления, и завел специальное дело...

Только после 1905 года, после нового закона о печати, появилась возможность легально издать «Подпольную Россию». В разных изданиях вышли отдельные очерки из «Подпольной России». Почти одновременно в Петербурге вышло семь изданий «Подпольной России».

В 1906 году известный профессор русской литературы и издатель С. А. Венгеров предпринял издание собрания сочинений Степняка-Кравчинского в шести книгах (частях). «Подпольная Россия» составила вторую часть. К ней были приложены прекрасно выполненные фотографии П. А. Кропоткина, С. Л. Перовской, В. И. Засулич и других.

После Октябрьской революции, вновь переиздавая в 1917—1919 годах собрание сочинений

Степняка-Кравчинского, С. А. Венгеров рассказывал о драматической истории издания «Подпольной России» в 1906—1908 годах: «Книга имела хороший успех, и в год разошлось два издания. Но 3-е издание, вышедшее в 1907 году, продавалось медленно и дожило до 1912 года, когда вдруг на него был наложен арест. Вскоре последовал судебный приговор об уничтожении книги. В ожидании его, однако, оставшиеся экземпляры были спрятаны в укромном месте, и это дало возможность вступить с цензурою в переговоры относительно выпуска в свет спасенных экземпляров в кастрированном виде» \*.

По требованию цензуры из «Подпольной России» было изъято все «Вступление», но остальное было разрешено, и в таком изуродованном виде книга снова поступила в продажу.

С. А. Венгеров немало потерпел за издание сочинений Степняка-Кравчинского, но благодарность читателей и широкая известность произведений замечательного писателя, из которых большинство появлялось в России впервые,— несомненно давали ему большое удовлетворение.

Заслуги С. А. Венгерова в популяризации сочинений Степняка-Кравчинского в России бесспорны. После Октябрьской революции он переиздал его сочинения, восстановив в них все купюры, сделанные под нажимом цензуры, дополнив их неопубликованными ранее его статьями и очерками.

---

\* См.: С. М. Степняк-Кравчинский. Собр. соч. Ч. 2. Пг., 1917, стр. III.

Царская цензура запретила также и все другие издания «Подпольной России».

В «Алфавитном указателе книгам и брошюрам, а также нумерам повременных изданий, арест на которые утвержден судебными установлениями по 1-е января 1913 года», напечатанном в типографии Министерства внутренних дел, кроме трех изданий «Подпольной России», выпущенных С. А. Венгеровым, перечислены еще пять изданий этой книги, в том числе одно издание на латышском языке, вышедшее в Риге в 1907 году.

Жандармы не оставляли своим вниманием «Подпольную Россию»...

Но книга уже разошлась. Ее читали и перечитывали.

Прогрессивная печать единодушно приветствовала ее.

Яркую статью о собрании сочинений Степняка-Кравчинского написал известный в то время писатель и публицист А. В. Амфитеатров, включив ее позже в том своих сочинений, озаглавленный «Властители дум».

А. В. Амфитеатров горячо приветствует издание сочинений Степняка: «Степняк достоин и должен войти в библиотеку русских классиков... Это поэт гражданского долга, товарищеского любвеобилия и глубокого уважения к человеку. Он... жил — весь — для других, осененный красотой и величием простодушной, почти самой себя не замечающей жертвы.

Светоч Степняка необходим каждой передовой группе русского общества. Легализация его сочинений — благодетельный дар для каждой обывательской библиотеки». (Надо напом-

нить, что в те времена слово «обывательский» имело совсем иной смысл, чем теперь, и обозначало — «частный» в противопоставление «казенному».)

Особенно отмечал Амфитеатров издание «Подпольной России»: «До сих пор знаменитейшее произведение Степняка — „Подпольная Россия“ — было известно русской интеллигенции больше по заглавию и заграничной славе, чем в запретном тексте своем... Вдохновенная характеристика В. Осинского — это погребальный марш Бетховена, перелитый из звуков в слова...» Восторженно отзываясь о женских образах, Амфитеатров ставит и вопрос об идеализации, к которому мы еще впоследствии вернемся.

Высоко оценивает Амфитеатров эмоциональность книги, ее увлекательность. Интересно, что солидный писатель, профессиональный литератор, немолодой уже человек, в описании своего отношения к книге почти дословно повторяет выражения рабочего парнишки, солдатского сына: «нельзя оторваться»...

Говоря об увлекательности книги, он считал нужным включить в статью и автобиографический эпизод. Он напоминает, как Печорин накануне дуэли читал «Пуритан» Вальтера Скотта: «Я перечитывал однажды „Подпольную Россию“, в обстоятельствах худших всякой дуэли, волшебная правда этой книги настолько могущественно захватила мое воображение, что за ними, на некоторое время, в самом деле, совершенно ступевалась печальная обстановка личной действительности. Эта книга — тризна Тиртея, поюще-

го пред армией разбитых, но не побежденных...» \*

При обысках полиция бдительно отмечала книги Степняка.

Старая учительница рассказывает в своих воспоминаниях, как весной 1914 года, молоденькой девушкой, живя в городе Владимире, она тщательно прятала, как самые драгоценные реликвии, книги Степняка-Кравчинского: «Подпольную Россию» и «Андрея Кожухова» \*\*.

И еще одно свидетельство.

Летом 1915 года в городе Арзамасе одиннадцатилетний мальчишка Аркадий Голиков, услышав случайно о событиях 1905 года, стал допытываться у матери, что такое революция. Мать посоветовала ему посмотреть в книгах отца, мобилизованного на фронт. Мальчишка посмотрел одну книгу и ничего в ней не понял.

«Но зато другая книга — рассказы Степняка-Кравчинского — была мне понятна; я прочел ее до конца и перечел снова, — писал он впоследствии, когда стал писателем Аркадием Гайдаром. — В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того, чтобы возбуждать сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих книгах шла о революционерах. У революционеров

---

\* А. В. Амфигатров. Собр. соч. Т. 22. Властители дум. (Л. Н. Толстой. «Дворянин» Достоевский. Максим Горький. Ибсен. Юлиуш Словацкий. Степняк. Н. С. Лесков. Памяти Болеслава Пруса.) СПб., «Промышление», б. г., стр. 309—324).

\*\* Р. Матвеева. Жизнь учительницы. Владимир, 1958, стр. 31.

были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстания против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело.

Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я ничего не знал про революционеров» \*.

Первая книга про революционеров... А потом сам Гайдар писал книги, каждая страница которых овеяна дыханием революции...

Во всех этих разнообразных свидетельствах есть общие черты, которые объединяют и рабочего парнишку, и интеллигентную девушку, и писателя, и мальчишку,— они все испытали впечатление, все испытали власть художественного слова, которое явилось для них откровением, которое представило им «наоборот», в истинном свете, показавшемся им «волшебным»,— всю окружающую действительность. Действительность, в которой можно действовать, бороться, в которой есть не только обыденщина, но и подвиг, и героизм, и люди-герои.

## ВОПРОС К ЧИТАТЕЛЮ

Почти все, кто читал «Подпольную Россию» и испытал на себе силу ее воздействия, говорят о том, что они снова и снова возвращались к

---

\* А. Гайдар. Школа.— В кн.: А. Гайдар. Соч. М.—Л., Детгиз, 1946, стр. 25—26.



ней, перечитывали ее. Чего же они искали в ней?

В чем секрет этой книги? В чем состоит ее «волшебная сила»?

Я много думала над этим.

Подумайте и вы, читатель.

Вы теперь знаете о «Подпольной России» почти все. Вы уже прочитали все письма Кравчинского и его друзей об этой книге. Я привела почти все известные мне документы, статьи, отклики, опустив только то, что казалось мне незначительным или недостоверным.

Правда, вы не знаете о юности Кравчинского, о годах его учения и «хождения в народ» и о времени его последующей эмиграции в Англии вплоть до того рокового утра 23 декабря 1895 года, когда, полный новых планов и замыслов, он, переходя линию железной дороги, попал под поезд и погиб...

Правда, некоторые его произведения до сих пор не переведены на русский язык, множество его писем, хранящихся в архивах, до сих пор не опубликованы, в архивах находятся и неоконченные его сочинения, но главные его книги — романы «Андрей Кожухов» и «Штундист Павел Руденко», повесть «Домик на Волге», пропагандистские сказки, публицистические работы: «Россия под властью царей» и «Царь-чурбан и царь-цапля» и многие его статьи и очерки — напечатаны и доступны всем...

А о «Подпольной России» все самое важное вам теперь известно.

Подумайте, что дает такую силу этой простой, я бы даже сказала — незатейливой книге? Что делает ее такой единственной в своем роде?

У меня есть несколько соображений по этому поводу, хотя, конечно, я вовсе не могу сказать, что решила все загадки «Подпольной России». И мне хочется, чтобы мой читатель и собеседник тоже подумал об этом и тоже построил какие-то гипотезы и накопил какие-то предположения... А пока я расскажу еще о двух читателях «Подпольной России».

## И. С. ТУРГЕНЕВ ЧИТАЕТ КРАВЧИНСКОГО

В 1870—1880-е годы Тургенев много жил за границей, большей частью во Франции. Он был близко знаком со многими русскими революционными эмигрантами — П. Л. Лавровым, П. А. Кропоткиным и другими. Хотя он отнюдь не разделял их взглядов, он зачастую помогал им и материально. Известно, что Тургенев регулярно передавал деньги Лаврову для его журнала «Вперед». Лавров посылал ему свои издания.

Летом 1875 года Лавров послал Тургеневу только что напечатанную им сказку «Мудрица Наумовна», предназначенную для пропаганды в народе. В этой сказке излагались идеи социализма, рассказывалось о Карле Марксе (надо отметить, что это было первое упоминание о Марксе в популярной литературе), о Международном товариществе рабочих. Заканчивалась она призывом к бунту.

Написал эту сказку С. М. Кравчинский.

Имя автора, понятно, на книжке обозначено не было. Не сообщил его, вероятно, Лавров и Тургеневу.

В письме 9 сентября 1875 года Тургенев писал Лаврову о «Мудрице Наумовне»: «Автор — человек с талантом, владеет языком — и весь его труд согрет жаром молодости и убеждения. Но тон не выдержан. Автор не дал себе ясного отчета — для кого он пишет, — для какого именно слоя читающей публики? Последствием этого — сбивчивость и неровность изложения. То для народа писано, то для более — если не образованного, — так более литературного слоя... Но повторяю, — у Вашего знакомого есть и талант и огонь, — пусть он продолжает трудиться на этом поприще». (П. Л. Лавров опубликовал это письмо после смерти Тургенева, в 1884 году в «Вестнике Народной Воли» № 2.)

Через некоторое время Лавров послал Тургеневу и другую пропагандистскую сказку Кравчинского, напечатанную в Лондоне, — «Из огня да в полымя! или Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», тоже предназначенную для пропаганды в народе, в основном повествующую о бедственном положении крестьянства.

На эту сказку Тургенев снова отозвался большим письмом, которое только недавно полностью опубликовано в «Литературном наследстве». Комментаторы ошибочно относили и этот отзыв Тургенева к «Мудрице Наумовне». На самом деле, несомненно, Тургенев имел в виду именно сказку Кравчинского «Из огня да в полымя! или Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», когда писал Лаврову 13 февраля 1876 года из Парижа в Лондон:

«Любезнейший Петр Лаврович, я... получил Ваше письмо, а также и брошюру.—

Эту же самую брошюру мне дал прочесть один находящийся здесь русский — и вот Вам мое мнение о ней: в авторе талант несомненный и жар и бойкость, но недостаток брошюры опять-таки тот, что она слишком *литературна* в том смысле, что собственно для мужиков в ней слишком много напущено реализма, *couleur locale* — и т. д. К чему этот дагерротип крестьянского разговора с его недоумовками, перерывами и т. д.? — Это может только сбить с толку мужика. — Надо быть хорошим чтецом (в роде И. Ф. Горбунова) — чтобы верно передать — *напр[имер]* страницу 9-ую. Представьте ее в чтении человека едва грамотного: ничего не выйдет. — Мне кажется, такие книжки должны быть писаны гораздо проще и толковее и безо всяких (даже реалистических) литературных затей. — Талант, высказанный автором в этой брошюре, позволяет надеяться, что если он захочет, то легко попадет в настоящий тон».

Тургенев верно отметил недостатки юношеских произведений Кравчинского и верно угадал его талант.

Может быть, Тургенев и не знал, что автор итальянской книги, вышедшей в Милане, — «Степняк» — и автор сказок, изданных Лавровым, — одно и то же лицо, а может быть, и знал...

Во всяком случае парижские друзья Кравчинского собирались показать «Подпольную Россию» Тургеневу вскоре же после ее выхода. Об этом сообщила Кравчинскому летом 1882 года его жена, которая тогда была в Париже.

Кравчинский написал ей: «Насчет Тургенева — я рад радехонек, если кто ему книжку пошлет. Я *услуг* от него никаких не хочу. А услышать мнение — это не услуга» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 757, л. 79; слово «услуг» Кравчинский подчеркнул...)

И вот в скором времени Кравчинский получил из Парижа письмо от Н. П. Цакни, который писал ему:

«Был на днях у Тургенева. Он прочел твою книгу, Сергей, и высказал следующее. Написана в высшей степени талантливо, есть места даже художественные, но ...неприятно поражает тон восторженного благоговения перед очерченными людьми, местами слишком утрированные и вычурные выражения, вроде: в душе его пылал, из глаз его струился... в этом роде, что портит впечатление. Затем, самым правдивым и трогательным местом он считает рассказ барыни о ее пребывании в Питере. „Тут видна голая, неприкрашенная правда, изложенная просто и трогательно; особенно хорошо рассказаны ощущения Перовской после ареста Желябова“» \*.

Этот отрывочек из письма был бережно подклеен и хранился вместе с письмом Э. Реклю и рецензиями на «Подпольную Россию».

Возможно, были и другие сообщения об оценке Тургенева, потому что осенью 1882 года Кравчинский писал П. Б. Аксельроду об очень хороших отзывах о «Подпольной России» со

---

\* *Е. Таратуга*. Этель Лилиан Войнич. Судьба писателя и судьба книги. М., «Художественная литература», 1964, стр. 98.

всех сторон и добавлял: «Даже Тургенев, пишут, „в восторге“ — его собственное выражение» \*.

Перечитаем еще раз отзыв Тургенева, — судя по всему, Н. П. Цакни верно передал его, — он представляется мне весьма примечательным.

Общая оценка книги, конечно, благоприятная — «в высшей степени талантливо».

Но что же в ней Тургеневу понравилось больше всего? Рассказ барыни о ее пребывании в Петербурге — то есть как раз та часть книги, которая как будто была написана не Кравчинским. Вы же помните, что этот «рассказ барыни» был написан по просьбе Кравчинского Анной Эпштейн, а Кравчинский только придал ему литературную форму.

К сожалению, как я уже рассказывала, рукописи «Подпольной России» не сохранились, насколько обработал Кравчинский то, что написала А. Эпштейн, мы определить не можем.

Хотя сам Кравчинский, посылая книгу Анне Эпштейн, писал ей 14 мая 1882 года: «Твой рассказ с 218 по 258-ю — целых 40 страниц почти сплошь твои — моего всего несколько примечаний, да два-три штриха внутри» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 75 об.), — можно предполагать, что он несколько преуменьшает свою роль.

Есть еще одно свидетельство самого Кравчинского об этом. В итальянском оригинале (да и в английском и во французском переводах) во вступлении к этой части книги было не-

---

\* Из архива П. Б. Аксельрода. Т. II, Берлин, 1924, стр. 77.

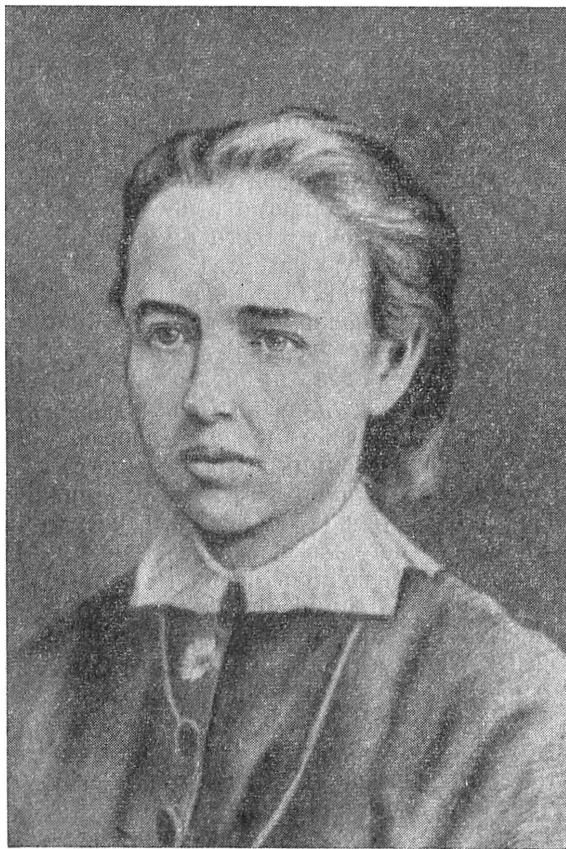
сколько абзацев с объяснением Кравчинского по этому вопросу, но в русский текст он их почему-то не включил.

В итальянском оригинале «Подпольной России» Кравчинский пишет, что просил свою приятельницу, — в книге он называет ее Ринной, — описать ее впечатления от поездки в Петербург весной 1881 года; она «согласилась, заметив, однако, что она не принимала участия в движении и вовсе не искушена в писательском мастерстве. „Но, — добавляла она, — я расскажу вам все, что я видела. А вы уже выберите, что сочтете нужным“.

Я прочитал ее письма. Они показались мне интересными почти целиком от начала до конца. То, что факты были описаны человеком, который сам не принимал участия в движении, — лишь увеличивало их значение и, по моему мнению, придавало им характер безупречной беспристрастности.

Что касается литературной формы, то я только соединил все вместе (так как я запрашивал множество объяснений и дополнений). Я должен был произвести несколько сокращений — не имеющих ничего важного, строк пятьдесят, не больше, и я упоминаю об этом лишь из чистого педантизма. Они касаются описаний некоторых подробностей, непонятных для иностранцев. Я старался сохранить выражения автора даже в рассуждениях (см. главу 5-ю о русской молодежи), чтобы не исказить этот интереснейший документ и сохранить самый дух подлинника.

Что касается сцен, посвященных нашим великомученикам, я не позволил себе изменить



*Софья Львовна Перовская*



в них ни единого слова. Это было бы святотатством».

Из этого можно понять что роль Кравчинского вовсе не сводилась к внесению «двух-трех штрихов», а была более значительной.

Этот вывод подтверждается еще и тем, что письма Анны Эпштейн — а я прочитала их довольно много — написаны весьма неуклюже, без всякого следа литературных данных, язык их весьма беден, невыразителен. Да показательно еще и то, что кроме этой «Поездки в Петербург» больше она ничего никогда не написала. А ей было что рассказать — ведь в течение многих лет она «держала границу» для русских революционеров, т. е. ведала нелегальной переправкой через границу — и из России и в Россию — и людей, и литературы, и всевозможных конспиративных грузов. Пробовала свои силы А. Эпштейн и как переводчица (опять-таки по настояниям Кравчинского) — и ничего у нее не вышло. Тот же Кравчинский писал ей в 1882 году (т. е. тогда же, когда она составляла для него рассказ о своей поездке): «Ты все-таки переводишь очень плохо. И это вздор, что тебе „руку набить“ только нужно. Тебе просто нужно усовершенствоваться в русском языке. Он у тебя так беден, что у тебя просто не хватает выражений и оборотов, и ты вынуждена переводить подстрочно» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 164, л. 72). Далее он дает ей ряд практических советов. Но несмотря на советы Кравчинского и его помощь — А. Эпштейн переводчицей не стала, хотя очень нуждалась, хотя иногда переводная работа была единственным способом заработать на хлеб.

Итак, ясно, что Кравчинский должен был немало потрудиться над рукописью Эпштейн, чтобы придать ей литературную форму. Но, конечно, интонация «Поездки в Петербург» во многом отличается от «Революционных профилей», и образ Перовской дан в ней в другом ключе.

Мы уже говорили, что тон отдельных частей «Подпольной России» весьма разнообразен. Кравчинский органически сочетал в своей книге, выражаясь языком XVIII века, «и высокий и низкий стили».

Вспомните, например, романтическое описание белой ночи в очерке о Стефановиче и сравните с ним начало очерка «Московский подкоп», где описана одна из окраин Москвы: «Летом трава растет на... широких улицах, похожих скорее на площади, где свободно могли бы маневрировать целые эскадроны кавалерии, а осенью, во время дождей, эти улицы превращаются сплошь в болота и озера, в которых мирно плещутся стаи домашних гусей и уток».

Тишина здесь мертвая. Движения никакого. Редко-редко по дощатому тротуару раздаются шаги одинокого пешехода, и, если он не принадлежит к местным обывателям, кучка ребятишек непременно повылезает из подворотни и долго будет глазеть ему вслед».

Так же совершенно в различных ключах рисует писатель и своих героев. Мы видели, как просто, с бытовыми реалистическими деталями описывает он Веру Засулич: «Эта женщина сильная, крепкая, и хотя ростом она не выше среднего» и т. д. Но о ней же он писал во

введении: «Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на заклятие...»

Так же в различных манерах говорит писатель и о Перовской.

Описывая Перовскую в ее «профиле» — Кравчинский выделяет в ней главное, то, что в ней было определяющим, характерным, — ее качества организатора и руководителя, твердость ее убеждений, ее ум и строгость, ее инициативность, ее страстную привязанность к товарищам по делу, ее находчивость, деловитость, ее бесстрашие.

При изображении этих не обыкновенных, выдающихся черт характера, чувств, поступков Кравчинский часто употребляет высокопарные выражения, вроде «она умела сохранить в груди нетронутую искру божественного огня» — именно такие, какие не понравились Тургеневу.

Но Кравчинский умеет иногда самыми простыми, обыкновенными словами передать необыкновенные черты своей героини, одной лишь расстановкой этих простых слов сообщая им особый внутренний ритм. «Когда, устремив на человека свой пытливый взгляд, проникавший, казалось, в самую глубину души, она говорила со своим серьезным видом: „Пойдем!“ — кто мог ответить ей: „Не пойду“?...»

И если Кравчинский рисует обыкновенные чувства своей героини, свойственные всякому человеку, — любовь к матери, например, и заботу о ней, — то эти чувства еще более рельефно оттеняют основное в ее характере.

Описывая даже незначительные детали, Кравчинский всегда помнит о главном, всегда имеет перед собой всю фигуру своего героя.

А в «Поездке в Петербург», уже после того, как он рассказал нам главное о Перовской, он рисует ее совсем по-другому. Вот она вошла в комнату, усталая, и прилегла на диван. Вот она «вытаращила» глаза в ответ на предложение отправить ее за границу. Вот, услышав о том, что арестованные первомайцы (среди них был человек, которого она любила) приняли известие о близкой казни с поразительным хладнокровием, — «она вздохнула; она мучилась ужасно; ей хотелось плакать, но она сдерживалась. Однако была минута, когда глаза ее подернулись слезой».

Здесь С. Перовская предстает перед нами обывательной женщиной, с обывательными чувствами и поступками.

Это как будто действительно, по выражению Тургенева, — «голая, неприкрашенная правда». Но только — как будто!

Да, это была бы «голая правда», если бы речь шла о женщине, которая выполняла свои обязанности несмотря на усталость, если бы речь шла о женщине, которая мужественно переносила горе при известии о близкой смерти любимого человека, то есть о такой женщине, которых мы встречаем если не каждый день, то все-таки часто.

Да, это была бы «голая правда», если исполнение обязанностей невзирая на усталость и мужество в часы глубоких испытаний были бы самым характерным в описываемом человеке, определяли бы его личность.

Но тогда, когда речь идет о Софье Перовской,— мы вправе не удовлетвориться этой правдой, мы скажем: это — неполная правда.

По отношению к Перовской — полной правдой является именно «прикрашенная» правда, т. е. правда, в каждой детали выявляющая аспект целого, правда, несущая в себе эмоцию изобразителя.

И фигуру Перовской нельзя правдиво изобразить только бытовыми описаниями: это будет неправдой.

То, что описывает Кравчинский в «профиле» Перовской,— не встречается каждый день, как не встречаются каждый день люди, подобные Перовской,— ибо он старался раскрыть ее суть, а суть эта была необыкновенна, **н з н а к о м а** нам.

То, что он описывает в «Поездке в Петербург»,— мы встречаем нередко, это знакомо нам — и по жизни и по литературе.

Это было знакомо и Тургеневу — и как человеку и как художнику. Ему это было близко, привычно, понятно. Он был глубоким знатоком движений женской души. И именно это понравилось ему.

Но ведь в «Поездке в Петербург» описаны те чувства и поступки Перовской, которые хотя и были ей свойственны, но не определяли ее суть целиком.

Может быть, я не совсем четко выразила свою мысль. К этому мы еще вернемся. А пока я хочу сказать еще одно.

Когда сам Тургенев попытался изобразить русских революционеров обыкновенным путем,

стараясь придерживаться только «голой, неприкрашенной правды» в реалистическом романе «Новь»,— у него ничего не получилось. Образы революционеров в романе «Новь» — не полная правда.

И только в стихотворении в прозе «Порог», весьма далеко от «голой, неприкрашенной правды»,— Тургеневу удалось создать образ русской революционерки...

### **ЧТО НАШЕЛ В «ПОДПОЛЬНОЙ РОССИИ» ЛЕВ ТОЛСТОЙ?**

Каждый стремится найти всюду именно то, что ищет.

Молодые люди хотят познать мир и определить свое место в нем. В книгах они жаждут найти откровение, указание путей, разгадку жизни, «примеры высоких действий», говоря словами Белинского. Те из них, которые склонны стать борцами за лучшую жизнь, ищут в героях «Подпольной России» и находят в них пример для подражания. Они ищут в себе сходные черты. Вряд ли можно сказать, что книга делает их революционерами, но книга пробуждает, выявляет то, что было накоплено от жизненных впечатлений, оформляет неясные, еще дремлющие стремления, побуждает к действию, воспитывает. Книга усиливает то направление, которое уже существовало в человеке (наряду со многими другими направлениями!) и заставляет избрать именно это!

Характерно, что девушки прежде всего останавливают свое внимание на фигурах девушек-героинь из «Подпольной России» и отдают им свое сердце.

Будущий ученый — социолог и экономист — находит в «Подпольной России» новый толчок к изучению общественных отношений и...к тому, чтоб принять личное участие в их изменении.

Пожилые люди большей частью ищут в книгах подтверждение своим уже устоявшимся жизненным наблюдениям, подтверждение правильности своего пути. (Но вообще они реже ищут чего-либо, чем молодые...)

Однако вот мы столкнулись со случаем, когда человек и в пятьдесят лет, как Вильям Моррис, будучи уже сложившимся и известным писателем и художником, под влиянием «Подпольной России» изменил свой жизненный путь и стал социалистом.

Более характерен пример с Тургеневым. Он, может быть даже неосознанно для себя, искал в «Подпольной России» подтверждения тому, чему он посвятил труд своей жизни. Он отметил и одобрил именно то, что было родственно его собственной манере.

Попробуем же предположить — что мог для себя найти в «Подпольной России» Лев Толстой?

Известно, что впервые Лев Толстой прочитал «Подпольную Россию» еще в нелегальном лондонском издании, в 1897 году. Книга эта произвела на него сильное, очень сильное впечатление. Но что же именно в ней поразило его?

Мы знаем, что Лев Толстой не только не разделял воззрений русских революционных народников, но и был их яростным антагонистом. Если он и брался когда-либо изображать «нигилистов» — то их фигуры получались у него бледными карикатурами, подчас близкими к пасквилью. Но известно, что он обратился к Александру III с просьбой об отмене смертной казни первомайцам.

Литературный стиль «Подпольной России», пожалуй, был Толстому еще более чужд, чем Тургеневу.

Однако и для себя нашел Лев Толстой в «Подпольной России» то, что потрясло его, дало ему сильнейшее переживание, к которому он возвращался не раз в течение нескольких лет, пока, наконец, не выразил свои чувства и размышления об этом в особом произведении...

Что же это?

Вероятно, у тех читателей, которые этого не знают (а многие, наверно, знают, потому что это давно уже опубликовано, и здесь ничего нового не сообщаю), возникнут свои предположения о том, какой образ, какие чувства, какие поступки из описанных в «Подпольной России» могли произвести впечатление на Льва Толстого.

Во всяком случае, теперь уже ясно, что искать их надо в том, что было близко самому Толстому, что занимало и волновало его многие годы, почти всю жизнь.

Теперь расскажу все по порядку, что нам известно об этом.

Первые данные относятся к 1897 году. 13 декабря 1897 года в дневнике, перечисляя



сюжеты своих будущих произведений, Толстой записал: «Казнь в Одессе».

Это уже прямой отзвук очерка из «Подпольной России» о Дмитрие Лизогубе, казненном в Одессе. Среди бумаг Толстого сохранилась и биография Лизогуба, напечатанная на машинке. (В комментариях к Полному собранию сочинений Толстого, том 54, откуда я беру эти сведения, указано, что биография эта принадлежит неизвестному лицу. Однако эта биография перепечатана из № 5 «Народной Воли», вышедшего в 1881 году.)

В 1898—1899 годах Толстой предполагал включить образ Лизогуба в роман «Воскресение», в часть III, под именем Синегуба, но потом отказался от этого намерения.

В 1903 году в дневнике, в записи от 30 декабря Толстой отметил, что хочет написать об этом рассказ, и дает герою имя Светлогуб.

В 1904 году в дневниках несколько записей об этом рассказе. В середине августа Толстой читал дома вслух неоконченный еще рассказ о Светлогубе и не мог читать от волнения и слез.

Осенью 1905 года Толстой снова переделывал этот рассказ и только в декабре закончил его, назвав «Божеское и человеческое».

В начале 1906 года этот рассказ был напечатан за границей на английском языке. В июне того же года газета «Новая жизнь» опубликовала его в переводе с английского, этот же текст был напечатан в июле в иллюстрированном приложении к газете «Новое время» и только в ноябре 1906 года подлинник рассказа был напечатан в «Круге чтения».

Вот, собственно говоря, и — все.

Но стоит рассказать и об отношении Толстого к другому произведению Степняка-Кравчинского — роману «Андрей Кожухов».

Среди немногих книг, которые Л. Толстой постоянно хранил у себя в кабинете, на этажерке, в последние годы его жизни всегда стояла и книга, вышедшая в 1906 году в Москве в издательстве Е. Мягкова «Колокол». Ни имени автора, ни даже названия произведения на книге обозначено не было. (Это был 1906 год, уже был принят новый закон о печати. Но с другой стороны — цензура свирепствовала не меньше.) На обложке просто было напечатано: «Роман из эпохи 70-х годов». Но Толстой знал, что это был «Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского.

Известно, что Толстой читал эту книгу в феврале 1909 года (по данным рукописного описания яснополянской библиотеки Толстого; хранится в архиве Гос. Музея Толстого).

В воспоминаниях о Толстом рассказывается, что в 1909 году он собирался писать повесть о революционерах «Нет в мире виноватых» и много читал революционной литературы. Приводятся слова Толстого о том, что читает В. Гюго, Л. Андреева и «еще читаю сейчас Кравчинского, очень нравится»\*.

Рассказ Толстого «Божеское и человеческое» посвящен двум поколениям революционеров — семидесятникам и деятелям новой

---

\* Н. Фельтен. Из воспоминаний. — В сб.: «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». Т. 2. М., 1960, стр. 360.

формации, начала XX века. Главная тема — отношение к смерти. Воплощение семидесятников — Светлогуб. Образ его почти полностью совпадает с образом Лизогуба в «Подпольной России». И, что особенно важно, Толстой сохраняет и интонацию Степняка-Кравчинского — интонацию глубокой симпатии к герою, восхищения нравственной высотой его личности.

У Толстого усилен один мотив, только намеченный в «Подпольной России», — стремление Лизогуба-Светлогуба к внутреннему удовлетворению, к гармонии намерений с действиями.

Толстой рассказывает о первых попытках молодого Светлогуба помочь народу устройством школ и другими филантропическими заведениями, ярко выявляя неудовлетворенность Светлогуба и как бы сам разделяя ее, — мол, все это было недостаточно, не то.

И Толстой показывает: а вот когда Светлогуб отдал все свое богатство, все имущество, все состояние, решительно все на дело борьбы за благо народа, когда Светлогуб посвятил всю свою жизнь без остатка этой борьбе — тогда и пришла к нему полная удовлетворенность, полная внутренняя гармония. И самую смерть — казнь за участие в революционной борьбе — Светлогуб принял спокойно и просветленно. Вот это именно то, что должно, это — прекрасно, утверждает Толстой.

Вы понимаете теперь, что нашел Толстой в «Подпольной России»? — Образ человека, осуществившего его, Толстого, собственную мечту. Воплотившего его собственный идеал.

Отдать все людям, жить только для людей. Мечта, которую сам Толстой так и не смог осуществить...

И отношение к Лизогубу Кравчинского, назвавшего его «святым», — было именно таким, которое импонировало Толстому, которое он целиком мог разделить. А без этого отношения не было бы и образа Лизогуба. Не произвел бы он и впечатления на Толстого.

И кто знает, не вспоминал ли именно образ Лизогуба Лев Толстой в осень 1910 года, когда он уходил из дома, мечтая об иной жизни...

# ПОЭЗИЯ И ПРАВДА

*Для меня литература — то же поле битвы.*

С. М. Степняк-Кравчинский.  
Из письма другу

Теперь, рассказав все, что я знала о «Подпольной России», я хочу поделиться с читателем своими предположениями и догадками. Каковы причины необыкновенной силы воздействия этой удивительной книги? Почему она производит столь сильное, столь глубокое впечатление?

Может быть, секрет в том, что впервые на страницах книги появились реальные фигуры крупных деятелей с громкими для того времени именами?

Несомненно, подлинность имен героев придавала книге особый интерес. Но важнее, конечно, подлинность фигур изображенных героев. Были ли их образы правдивыми, достоверными?

Мы помним, какие яростные споры вызвали в среде современников некоторые портреты из «Подпольной России».

Идеализация или правдивость?

Лев Дейч приводит в своих воспоминаниях любопытное свидетельство.

«Когда мы, товарищи Кравчинского, указывали ему на преувеличенно возвышенный, приподнятый тон, которым он говорит о выведенных им лицах, он обыкновенно отвечал следующее:

— Современники почти всегда являются плохими ценителями выдающихся людей их эпохи. Припомните, как знаменитая мадам Ролан жаловалась в своих записках, написанных во время Великой революции, на отсутствие между ее современниками крупных людей. А теперь эти Робеспьеры, Дантоны, Сен-Жюсты кажутся нам гигантами. Вот также и вам всем кажутся обыкновенными людьми те, которые, по-моему, являются очень крупными. Чтобы видеть их действительные размеры, нужно мысленно перенестись в будущее» \*.

Лев Дейч, очевидно, точно передает эти примечательные слова Кравчинского, так как и Вера Засулич в своих воспоминаниях пишет об этом же \*\*, да и в письмах Степняка того времени мы находим эту же мысль.

После выхода в свет «России под властью царей» в 1885 году, получив от Анны Эпштейн письмо об этой книге, «все наполненное кри-

---

\* Лев Дейч. С. М. Кравчинский. Пг., 1919, стр. 42.

\*\* В. Засулич. Статьи о русской литературе. М., 1960, стр. 129.

тикой», Кравчинский отвечал ей: «Нисколько я не изукрашал ни земства, ни литературы, ни общества. Я был в *такой же мере* правдив, описывая их, как и описывая мир подпольный, нигилистический. А чтоб быть правдивым, нужно опять соблюдать перспективу и знать, с кем и для чего говоришь...» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 166, л. 16 об.).

Эта мысль Степняка — о необходимости «соблюдать перспективу», для того чтобы быть правдивым, — представляется мне очень глубокой. Именно «соблюдение перспективы» позволило Степняку передать истинный масштаб изображенных им фигур.

Как это ни парадоксально, именно его кажущаяся «идеализация» героев дала ему возможность изобразить их в истинном свете.

Здесь мы встречаемся с примечательным феноменом. Ведь обычно «возвышающему обману» противопоставляется «тьма низких истин». А если сама истина — «высокая»? Вот ведь в чем дело!

Сама истина, описываемая Степняком, — возвышающая. Та историческая правда, о которой он нам правдиво свидетельствует, — окрыляющая, сама по себе способная — даже сухими протоколами судебных заседаний по процессам революционных народников — воодушевлять...

Это хорошо понял и хорошо выразил А. В. Амфитеатров. Я уже приводила его восторженный отзыв о «Подпольной России». Вот что он пишет о женских образах этой книги, называя их «прекрасными»: «А ведь Степняк писал не обобщения вымысла, но портреты

с натуры. Идеализация несомненна, но какие же благодарные и благородные оригиналы должен был иметь перед собою счастливый портретист, чтобы чувствовать себя в праве на риск такой идеализации, чтобы принимать на себя ответственность за ее правду и, действительно, сохранить в ней строгую художественность», и далее называет правду этой книги «волшебной» \*.

Очевидно, властное «волшебство» этой правдивости подействовало и на самого Льва Дейча, так как он, весьма энергично выражавший свое недовольство «профилями» в книге Степняка тогда, когда она создавалась,— позже, имея перспективу в тридцать с лишним лет, писал:

«Никто из нас, современников и товарищей Степняка, знавших обрисованных им в „Подпольной России“ лиц, не может сказать, что данные автором характеристики их неправильны, что он приписал не присущие им черты и умолчал о сколько-нибудь крупных их недостатках и пр. Наоборот, каждый из нас должен признать, что Степняку удалось в небольших очерках дать удивительно верные и меткие образы и что выведенные им лица выступают как живые» \*\*.

А теперь я хочу предоставить слово еще одному свидетелю, который мне особенно дорог.

Мой отец Александр Таратута был в 1904 году в Лондоне на съезде анархистов. Вспомни-

---

\* А. В. Амфиитеатров. Собр. соч. СПб., «Просвещение». [1914]. Т. 22, стр. 317, 319.

\*\* Лев Дейч. С. М. Кравчинский, стр. 41.



ная об этом, он пишет: «Тут я впервые встретился с Кропоткиным. Я помнил восхищенную характеристику Петра Алексеевича в книге Кравчинского „Подпольная Россия“. Но признаюсь — первое заседание нашего съезда говорило мне о Петре Алексеевиче совершенно иное. Никаких признаков мягкости, кротости, которой я ожидал встретить. Передо мной был человек резкий, жесткий, страстный, нетерпеливый»...

Прошло несколько дней, — рассказывает мой отец. «Работы съезда в Лондоне протекали при непосредственном участии Петра Алексеевича. — Тут-то мы могли оценить всю силу, все значение нашего великого учителя. Здесь-то мы имели много случаев узнать и восхищаться глубоким знанием нашего учителя людей и вещей. Тогда я понял верность характеристики Кропоткина у Кравчинского»\*.

Мой отец, конечно, не мог предполагать в 1921 году, когда он писал эти воспоминания, что его свидетельство так точно подтвердит мои наблюдения: если на первый, поверхностный взгляд можно было оспаривать характеристики «Подпольной России», то более глубокое ознакомление убеждает в их правдивости, верности...

Не менее важна и другая мысль, высказанная Кравчинским в письме к Анне Эпштейн: «знать, с кем и для чего говоришь».

---

\* А. Г. Тарасута. П. А. Кропоткин (Воспоминания). — В кн.: *Петр Кропоткин*. Сб. статей. П.—М., 1922, стр. 165, 166.

Пропагандист по натуре, Кравчинский каждую свою строку пронизывает своим убеждением, своим стремлением привлечь силы, симпатии к борьбе за освобождение народа. Вот это «для чего» вместе с «соблюдением перспективы» и придает книге Степняка-Кравчинского ту правдивость, которая нам всего дороже.

Есть еще одно немаловажное обстоятельство, которое придает особую ценность правдивости «Подпольной России», — автор ее не только свидетель, но и участник описываемых событий, не только знакомый, но и соратник описанных им людей...

Он тоже понимал это. Летом 1884 года, только что приехав в Лондон и встретив там самый радушный прием, самое сочувственное отношение со стороны прогрессивных английских деятелей, со стороны таких людей, как Фридрих Энгельс и дочь Карла Маркса — Элеонора, он писал жене: «я понимаю, что мой личный успех похож на успех моей книжки: за мной стоит обширное движение, коего я являюсь так или иначе представителем, не только историографом...» (ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 758, л. 46—49).

Именно все это вместе взятое и позволило Степняку передать нам, сохранить для потомков истину истории. Действительно, деятели подпольной России, революционеры-народники для нас существуют такими, какими их нам изобразил Степняк-Кравчинский.

Где теперь хвалимые некогда — и читаемые, широко читаемые! — многотомные антинигилистические романы Ключникова, Крестовского, Авенариуса, Маркевича, изображав-

шие народников злодеями и чудовищами, где теперь многочисленные учебники, еще так недавно шельмовавшие деятельность революционных народников как «бесполезную и вредную».

Верно писал Г. В. Плеханов в 1901 году о «Подпольной России»:

«„Заговоры и терроры“ теперь совершенно неуместны. Но память о заговорщиках и террористах, преследовавших святую цель экономического и политического освобождения русского народа, должна быть так же дорога всем сознательным рабочим, как дорога всем искренним христианам память их мучеников.

Желябовы и Перовские составляют славу нашей родины» \*.

Степняк — воистину певец своего поколения, сохранивший для нас подлинные черты тех, кого Ленин назвал «блестящей плеядой революционеров 70-х годов».

Недаром с первых же дней появления «Подпольной России» на нее стали ссылаться как на исторический источник авторы трудов по истории революционного движения в России, начиная от немецкого профессора Альфонса Туна, выпустившего свою книгу в 1883 году, до советских историков наших дней.

Но только ли в одной исторической правдивости суть, когда мы пытаемся выяснить причины сильного воздействия «Подпольной России» на людей?

Конечно, нет.

Нам известно немало книг, написанных участниками революционных движений той эпохи

---

\* Г. В. Плеханов. Соч. Т. XII, стр. 98,

о своем времени, более того, — написанных даже точно в том же духе — сочетающих и личные воспоминания и записки друзей. Таковы, например, «Заговорщики и полиция» Льва Тихомирова, написанные в 1887 году на французском языке и изданные в Париже, или работа П. Л. Лаврова «Народники-пропагандисты» (Париж, 1895—1896). Я уже не говорю о большом количестве мемуаров. Ни одна из этих книг не может сравниться с «Подпольной Россией» по силе воздействия на читателей.

Очевидно, историческая достоверность является непременным условием успеха «Подпольной России», но вовсе не причиной.

Читатель помнит, как формулировал Кравчинский свою задачу: «дать характеристику движения в лицах и образах».

Вот в чем дело!

Глубина художественного обобщения, сила поэтического чувства, вложенного в книгу, наполняет ее обаянием, дает ей тот пафос, то эмоциональное богатство, которые и производят сильное впечатление.

Кравчинский давно уже думал об этом.

В 1875 году он писал активному деятелю революционного движения того времени, ученику Бакунина — З. К. Арборе-Ралли по поводу его книги «Сытые и голодные», только что нелегально изданной в Женеве. Кравчинский высоко оценивал содержание книги, но дальше писал: «Вообще сделаю очень важное замечание. Вы упускаете из виду, так сказать, художественность в истории. (...) Не знаю, как вы, но я придаю этому очень большое значение. Только через это книжка

получает *живой интерес*. Подчеркиваю „живой“, потому что при таком изображении читатель действительно *живет* вместе со своими героями» (ЦГАЛИ, ф. 1158, оп. 1, ед. хр. 143, л. 1—2).

Сам Кравчинский, работая над своей книгой, стремился придать ей этот «живой интерес». Это ему удалось. Как мы видели, читатели его действительно жили вместе с его героями.

Ведь точно этими словами выразил свое отношение к «Подпольной России» автор письма в редакцию «Рабочей мысли», которое я уже приводила: «рабочие... жили вместе с ее героями».

Кравчинский понимал, что для достижения своей цели — дать характеристику движения «в лицах и образах» — ему нужно добиться того, что он называл «полнотой художественного впечатления». На этот счет он был «неумолим и беспощаден».

Кравчинский тщательно обдумывал и композицию книги, стремясь к сочетанию разнообразия и единства.

Кравчинский новаторски соединил в «Подпольной России» разнообразнейшие жанры. Мы находим в ней рассказы, очерки, мемуары, литературные портреты, приключения, исторические экскурсы, социологические исследования, прокламацию, политический трактат. Все это разнообразие подчинено одной цели. Так в оркестре различные инструменты создают единую мелодию.

Но, конечно, новаторством «Подпольной России» была не только и не столько ее композиция.

В «Подпольной России» Степняк-Кравчинский, как истинный художник, внес в русскую и в мировую литературу новый тип героя.

Образы революционеров во всей предшествующей русской литературе не могут сравниться с героями Степняка. По самым условиям подцензурной печати в произведениях легальной литературы не мог в ту пору появиться образ русского революционера во весь рост.

Революционеры, герои романов Чернышевского, Тургенева, Слепцова — только приблизительные силуэты (я не говорю уж о персонажах Достоевского или пасквильных антиингилистических романов).

На одного Герцена мог оглянуться Степняк-Кравчинский.

Думая о своих соратниках, отыскивая слова для создания их образов, Степняк-Кравчинский мог вспомнить близкую ему самому интонацию хотя бы в «Письмах об изучении природы», где Герцен писал о декабристах: «Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия» \*.

Ну, и конечно, книга «Былое и думы» могла послужить для него блестящим образцом.

Степняка-Кравчинского и Герцена объединяет самая их позиция соратника, а не свидетеля, участника событий, а не только историографа...

---

\* А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т. М., АН СССР, Т. 2, 1955, стр. 287.

По сравнению же со всей легальной предшествующей русской литературой, Степняк-Кравчинский создал качественно новый тип, не знакомый до него ни России ни всему миру.

Качественно новой была и позиция соратника, друга, соучастника. Ведь тот же Тургенев, даже пытаясь приблизиться к этому новому типу, типу революционера-энтузиаста в романе «Новь», в стихотворении в прозе «Порог», — описывал их со стороны. Он рассматривал их, удивлялся им.

Это отношение очень точно выразил Я. П. Полонский в стихотворении «Узница», посвященном девушке-революционерке.

Что мне она! — не жена, не любовница,  
И не родная мне дочь!  
Так отчего ж ее доля проклятая  
Спать не дает мне всю ночь!

Действительно, сам поэт удивлен, что его тревожит судьба мученицы — чужой и чуждой ему.

Для Степняка-Кравчинского его герои были родные, близкие ему люди. Их судьба была его судьбой.

Другие писатели знакомили с революционерами, Степняк-Кравчинский заставил полюбить их.

Конечно, талант Степняка-Кравчинского не сравним с гением Толстого, Тургенева, но он внес в литературу свое — новые образы, новые чувства.

Сила Кравчинского-художника — в изображении любви не к мужу, к невесте, к матери,

а к соратникам, в изображении ненависти не к сопернику, а к угнетателям.

Впервые в мире читатель узнал женщину с органической жаждой подвига — такую, как Засулич. Впервые в мире читатель увидел улыбку на лице идущего на казнь человека. Впервые в мире Кравчинский описал неутомимость и энергию женщины в служении народу, служении долгу, избранному добровольно и навсегда.

В своей книге Степняк-Кравчинский дал нам сплав действительности самой низкой, гнетущей, с характерами самыми прекрасными, сплав точных фактов с чувствами самыми возвышенными.

Несомненно, главная особенность «Подпольной России» — эмоциональная напряженность, придающая каждой строке ее заряд огромной силы, вызывающий в читателе цепную реакцию чистых и глубоких чувств.

Я убеждена, что именно в этом заключается секрет силы воздействия этой удивительной книги.

Этой эмоциональной напряженности содействует небольшой объем книги, возможность прочитать ее за один раз, «не отрываясь», большая простота и доступность самому неискушенному читателю.

Но как достигается эта эмоциональная напряженность?

Лион Фейхтвангер писал однажды о романе американской писательницы Марты Додд «Лучом прожектора», что эта книга — «яркий образец романа, проникнутого политической тенденцией. Книга имеет кое-какие недостатки,



обычно присущие такого рода произведениям; но она обладает и всеми преимуществами, какие являются следствием того, что роман написан со всей силой общественно-политической убежденности. Мы обычно называем такой жанр литературы „активизмом“, и, пожалуй, половина всех наиболее прославленных в истории романов обязана своим появлением именно этому стимулу. Сейчас принято насмешливо отвергать такие произведения или встречать их появление снисходительной улыбкой. Впрочем, чаще всего их отвергают потому, что критик не приемлет политической тенденции, присущей книге, которую он рассматривает» \*.

Мне кажется, что определение Лиона Фейхтвангера — «активизм» — в высшей степени точно характеризует и творчество Степняка-Кравчинского в целом, и «Подпольную Россию» в первую очередь.

Как возникает этот «активизм», к сожалению, еще не изучено. Наука еще не постигла «секреты» воздействия искусства на человека.

После долгих размышлений я пришла к выводу, которым и хочу здесь поделиться с читателем.

Я полагаю, что для некоторых произведений литературы решающим является то, что они созданы людьми-борцами в те моменты, когда они лишены возможности бороться.

В произведениях борца, лишенного возможности действовать, чудесным образом аккумуля-

---

\* См.: «Иностранная литература», 1955, № 5, стр. 282.

лируется его энергия; заряд его неизрасходованных сил создает как бы поле высокого напряжения, которое передает энергию автора каждому, кто попадает в сферу его воздействия, то есть каждому читателю.

Именно невозможности прямых действий, внезапной остановке в борьбе мы обязаны многими произведениями литературы, несущими в себе неиссякаемый источник воодушевления.

Ведь так был создан Чернышевским роман «Что делать?».

Лишенный возможности действовать, замурованный в Петропавловской крепости, он всю свою энергию, весь свой огромный заряд мысли, мечты, чувств, воли вложил в книгу.

Можно со всей категоричностью утверждать, что никогда, будучи на воле, поглощенный реальной борьбой, Чернышевский не создал бы произведения, обладающего столь мощным запасом энергии.

Именно так был создан Николаем Островским роман «Как закалялась сталь».

Внезапно вырванный из жизни тяжелой болезнью, прикованный к постели, лишенный возможности бороться,— он все свои разнообразные доселе проявления энергии трансформировал в одно.

Несомненно, что, продолжая активно участвовать в непосредственной борьбе за укрепление советской власти — работая на стройках, в партийных и комсомольских организациях, Николай Островский никогда не создал бы, не мог бы создать ничего подобного роману «Как закалялась сталь».

В Петропавловской крепости М. И. Михайлов создал свое стихотворение «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою...», ставшее народовольческим гимном. А ведь и до и после им было написано немало...

Именно так было создано Эженом Потье стихотворение, ставшее всемирным пролетарским гимном, — «Интернационал».

Обреченный на бездействие после разгрома Парижской Коммуны, недавний еще ее активный участник, еще несущий в себе колоссальный импульс, разбег битвы, поэт-борец все это вложил во вдохновенные строфы — «Вставай, проклятем заклеянный...»

В Бутырской тюрьме молодой большевик Г. М. Кржижановский в 1897 году создал свои переводы «Варшавянки» и «Красного знамени», которые стали крылатыми песнями русской революции.

(А ведь и Эжен Потье и Г. М. Кржижановский писали и другие стихи, в других условиях...)

Так же была создана и «Подпольная Россия», когда в конце 1881 года С. М. Кравчинский оказался в Италии в вынужденном бездействии, одержимый жаждой борьбы...

Все эти произведения (а их список можно было и умножить!) живут своей особой самостоятельной жизнью. Они оставляют неизгладимый след, воодушевляют, ведут в бой, играя иногда решающую роль в судьбах отдельных людей, а иногда и целых поколений!

(Но читатель может справедливо возразить мне, что известно множество произведений, созданных в аналогичных условиях — в заключе-

нии, ссылке, эмиграции и т. п., вовсе не обладающих способностью «жечь сердца людей».

Да, конечно, есть такие произведения, и их большинство...

Да, очевидно, эти условия — только условие, а не причина.

Чтобы «жечь сердца людей», очевидно, надо самому иметь пламенеющее сердце.

И этого одного тоже, вероятно, недостаточно...

Безусловно, необходим еще тот особый дар, который мы называем талантом.

Гипотезы... Гипотезы...

А как вы полагаете, читатель?)

И так как эти произведения не укладываются в привычные рамки, не укладываются в прокрустово ложе господствующих эстетических кодексов, как бы выпадают из литературного ряда, а по содержанию и по направлению всегда ярко тенденциозны, то критики и историки литературы обычно проходят мимо них. Значение этих произведений в истории и в жизни общества устанавливают не ученые, а сами читатели. Исследователи же литературы не уделяют им внимания. Не занимаются ими и теоретики литературы, специалисты по эстетике.

До сих пор типические особенности этих произведений не описаны, родовые их черты не выявлены, не классифицированы, хотя каждому очевидно, что мерить романы «Что делать?» и «Отцы и дети» (посвященные одной и той же теме новых людей) одной и той же меркой — невозможно. Определять «Хождение по мукам» и «Как закалялась сталь» (посвящен-

ные одной и той же эпохе) — по одинаковым законам — нельзя. Эти произведения написаны как бы в разных измерениях.

Пожалуй, я сформулировала бы разницу так.

Писатель типа Тургенева, Толстого — пишет потому, что он не может не писать.

Наш автор — пишет потому, что он не может действовать.

Первый — энциклопедичен в своих темах, образах, настроениях, стремлениях, широко охватывает разнообразные явления жизни.

Наш автор — монистичен, одержим одной идеей, яростно тенденциозен, ему доступна лишь узкая сфера жизни.

Для первого литература — единственная форма деятельности.

Для нашего автора литература — вынужденная форма деятельности. Он превращает литературу в «поле битвы» и рассматривает свои книги как оружие...

Мы не будем говорить сейчас, кто из них выше, кто ниже (да вряд ли вообще уместна такая постановка вопроса), но нам важно определить иное, принципиально иное качество природы творчества, принципиально иное положение в обществе и этих произведений и их создателей.

Но пропасти между ними нет. Наоборот — можно найти много общего.

Сила воздействия...

Помните, как писал Пушкин о Татьяне: «Воображаясь с героиней своих возлюбленных творцов...» А сколько поколений читателей по сей день «воображаются» самой Татьяной.

Но мы знаем, что тысячи читателей «воображались и воображаются» не только Татьяной, Вертером, Печориным, но и Рахметовым, Андреем Кожуховым, Оводом, Павлом Корчагиным и, конечно,— героями «Подпольной России».

Особенно пленительны для читателей образы героев в истинном смысле этого слова. Героизм, запечатленный словом,— становится во сто крат пленительней. Помимо информации — так сказать, объективного изображения событий и характеров — автор передает свое чувство, и читатель душевно обогащается новым переживанием, «воображаясь» любимыми героями, как бы перевоплощается в них, то есть «живет вместе с ними».

В романе Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» есть глава «Новообращенная», в которой с потрясающей силой и правдивостью изображено, как в молодой душе происходит созревание характера. (Я считаю, что эта глава сделала бы честь любому великому русскому писателю.) Героиня романа Таня Репина давно сочувствовала революционерам, но только теперь, под влиянием рассказа о скромном подвиге революционера, спасшего жизнь товарищу ценой своей жизни,— она сама решила стать на путь борьбы.

Богатый опыт Кравчинского-пропагандиста, не только наблюдавшего такие случаи, но и самого вызывавшего и переживавшего их, помог Кравчинскому-художнику изобразить этот душевный кризис с удивительной глубиной и правдивостью.

«Событие или книга,— заключает автор эту главу,— живое слово или заразительный при-

мер, печальная повесть настоящего или яркий просвет будущего — все может послужить поводом для рокового кризиса. У иных он сопровождается сильным душевным потрясением; у других глубочайшие источники сердца открываются как бы во сне, нежнейшим прикосновением дружеской руки. Так или иначе, но все отдавшиеся на жизнь и смерть служению великому делу должны пережить такой решающий момент...»

Таким решающим моментом в жизни многих было чтение книг Степняка-Кравчинского — «Андрей Кожухов» и «Подпольная Россия».

Благородный характер его героев привлекает сердца. Писатель-боец обладает даром увлечь примером своих героев — и реальных и вымышленных.

Надо сказать, что Степняк-Кравчинский обладал этим даром не только как писатель. О нем самом и при жизни ходили легенды. Он сам как пропагандист привлек к участию в революционном движении не один десяток людей. Даже враги признавали это.

Я не буду приводить свидетельства друзей — Морозова, Кропоткина, Дейча и других, опубликованные в их мемуарах.

Я приведу отзыв начальника Киевского губернского жандармского управления генерала В. Д. Новицкого из его письма 1894 года начальнику Департамента полиции (письмо сохранилось в секретных фондах).

«Кравчинский, — писал Новицкий, — это самый серьезный и опасный политический деятель, глубокого ума человек, большого образо-

вания, громадной энергии, неотступной деятельности и решимости и при том обладающий способностью влить начала своих непоколебимых воззрений в окружающих его лиц... Время ведения Кравчинским пропаганды, и пропаганды открытой, среди фабрично-заводского населения вблизи г. Санкт-Петербурга в 1872—1873 годах, считается «золотым веком» пропаганды, настолько он вел таковую смело и умело; сведя рабочих в числе тысячи более человек из ближайших заводов и фабрик, он разбрасывал между ними свои произведения.., столь сильно действующие на умы слушателей, коих он увлекал и словом, из уст его исходившим, что рабочие фабрик и заводов изъявили готовность тотчас же идти на баррикады, а печатные его произведения гибкого ума, но злобно-увлекательного расхватывались и разрывались на части...» (ЦГАОР, ф. ДП, 3-е делопроизводство, № 635, ч. 1 за 1894 год, л. 54—57).

Конечно, Новицкий преувеличивает, но и преувеличения эти показательны...

Но не только слово — печатное или устное — Кравчинского служило целям пропаганды. Он сам, не только своими произведениями, но и своими действиями агитировал на борьбу, побуждал к действиям.

Член Исполнительного комитета «Народной Воли» Анна Павловна Корба рассказывает в своих воспоминаниях об одном утре начала августа 1878 года: .

«В описываемое утро моя сестра стояла у стола лицом к двери (как запомнились Анне



Павловне эти подробности! А ведь воспомина-  
ния эти написаны в 1916 году — 38 лет  
спустя! — *Е. Т.*) и держала перед собой развер-  
нутый лист только что полученной газеты.  
„Представь, что случилось! — воскликнула она,  
как только увидела меня, — в Петербурге на  
Михайловской площади убили шефа жандар-  
мов Мезенцева“. Для меня это известие было  
откровением и стало поворотным  
пунктом в моей жизни.

Не то чтоб я страдала склонностью к про-  
литию крови или другим жестокостям, — объ-  
ясняет *А. П. Корба*. — Ничего подобного не бы-  
ло. Но внезапно почувствовалось и  
стало ясным, что возможны порывы к осво-  
бождению России от гнета деспотизма, что они  
бывают удачны, а следовательно, возрождение  
родины возможно... Недели через две... я была  
в Петербурге. Я ехала с твердым намерением  
отыскать смелых людей, бросившихся в битву  
с деспотизмом. Я хотела им сказать, что их  
дело есть и мое дело, что во мне давно, хотя  
смутно, жило стремление бороться против вра-  
гов народа, что отныне все мои силы будут  
посвящены начатой ими героической борь-  
бе» \*.

Это признание удивительно подчеркивает  
цельность личности *Кравчинского* во всех ее  
проявлениях.

Его действия, слова, книги — едины.

В личности, жизненном пути и творчестве

---

\* *А. П. Прибылева-Корба*. Народная Воля. Воспо-  
минания о 1870—1880-х гг. М., Изд. Политкаторжан,  
1926, стр. 30.

Степняка-Кравчинского неразрывно слиты поэзия действия и действие поэзии.

Может быть, в этом — разгадка секрета?

Читатель его книг пленен общением с благородными, мужественными людьми — и героями книги и самим ее автором.

Благодаря цельности своей личности, спаянности таланта и любви к народу в «одну, но пламенную страсть» — Степняк-Кравчинский сумел соединить в своей книге истину истории и поэзию революции.

Этим он дорог нам.

Этим жива «Подпольная Россия» — поэзией и правдой.

Вы согласны со мной, читатель?

*Москва. 1955—1966.*

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Авенариус В. П. 251  
 Адан Ж. 179  
 Аксельрод П. Б. 23, 83—  
     88, 92, 106, 111, 159,  
     162, 230  
 Александр II 13, 23, 24,  
     81, 151, 166  
 Александр III 81, 82, 88,  
     89, 241  
 Алексис П. 133, 135  
 Амичис Э, де- 133, 135  
 Амфитеатров А. В.  
     222—224, 248, 249  
 Андреев Л. Н. 243  
 Антонович М. А. 34  
 Арборе-Ралли З. К. 253
- Бакунин М. А. 253  
 Баравалле К. 41  
 Баранников А. И. 77  
 Бардина С. И. 194, 204  
 Бебель А. 214  
 Белинский В. Г. 239  
 Бернштейн Э. 106, 162  
 Бетховен Л. 223  
 Бир Р. 39, 66, 81  
 Благосветлов Г. Е. 22, 35  
 Бонч-Бруевич В. Д. 3  
 Бохановский И. В. 14,  
     51, 83, 142, 154, 198  
 Брандес Г. 178
- Введенский А. И. 201, 202  
 Венгероу С. А. 184,  
     220—222  
 Верга Дж. 39  
 Войнич М. 205, 206, 210,  
     212  
 Войнич Э. Л. (Буль  
     Э. Л.) 5, 178, 210  
 Волховский Ф. В. 205
- Гайдар А. П. 224, 225  
 Гальдос Б. П. 67  
 Гамбетта Л. 45, 133, 136  
 Гарибальди Дж. 39, 133  
 Гартман Л. Н. 52, 83,  
     125, 176  
 Гашетт 160  
 Гверрацци Ф. Д. 43  
 Гельфман Г. М. 30, 49,  
     50, 216, 218  
 Герцен А. И. 94, 101,  
     103, 255  
 Гольденберг Л. Б. 205,  
     209, 210  
 Горбунов И. Ф. 229  
 Грачевский М. Ф. 146  
 Грессо, мадам 22, 24  
 Гуэрра Э. 41  
 Гуэррини О. (Гверрини,  
     Лоренцо Стеккетти)  
     41  
 Гюго В. 52, 129, 243
- Дарвин Ч. 109  
 Дебагорий-Мокриевич  
     В. К. 190  
 Дейч Л. Г. (Евгений,  
     Женька) 7, 14, 23, 30,  
     51, 53, 55, 67—69, 71,  
     72, 77, 80, 83, 90, 94,  
     134, 140—145, 149,  
     150, 154, 157, 198,  
     247, 249, 264  
 Джованьоли Р. 22  
 Джусти Дж. 38, 207  
 Добржинский 151  
 Додд М. 257  
 Додэ А. 6, 45, 133, 136,  
     179—181  
 Долгорукая Е. М. 166,  
     167

- Достоевский Ф. М. 255  
 Драбкина Ф. И. 215, 216  
 Драгоманов М. П. 23,  
 42, 53, 135, 140, 145,  
 189—194, 199  
 Дубенская Е. Д. 56, 61
- Желябов А. И.** 49, 51,  
 188, 230  
 Жозеф 20, 21  
 Жуковский Н. И. 23
- Зайцев В. А. 34, 71  
 Заломов П. А. 217  
 Заломова Ж. Э. 217  
 Засулич В. И. 12, 17,  
 22, 23, 29, 30, 32, 49,  
 50, 55, 69, 71, 76, 77,  
 83, 90, 92, 94, 109,  
 112—140, 142, 144,  
 149, 152, 154, 157, 176,  
 192, 206, 211, 212,  
 218, 220, 235, 247  
 Звирбулис-Путне Э. 219  
 Златовратский Н. Н. 103  
 Золя Э. 6, 133, 135,  
 179—181  
 Зунделевич А. И. 49, 50
- Игнатов В. Н.** 83  
 Иохельсон В. И. 31, 209
- Канова А.** 58  
 Каракозов Д. В. 110  
 Кардуччи Д. 41  
 Кастелляр Э. 22  
 Катков М. Н. 196, 197,  
 200, 201  
 Каутский К. 214
- Кибальчич Н. И. 188  
 Кларти Ж. 94  
 Клеменц Д. А. 17, 49,  
 50, 56, 60, 62, 64, 65,  
 114, 116—119, 123,  
 207.
- Ключников В. П. 251  
 Ковалевская С. В. 178  
 Ковальский И. М. 14  
 Коленкина М. А. 17, 49,  
 51, 208  
 Кони А. Ф. 120, 121  
 Конрад Н. И. 165  
 Корба А. П. 146, 265, 266  
 Короленко В. Г. 119, 120,  
 124  
 Крестовский В. В. 251  
 Кржижановский Г. М.  
 260
- Кропоткин П. А. 7, 15,  
 23, 49, 50, 52, 53, 56,  
 65, 76, 83, 109, 120,  
 173, 176, 177, 180, 192,  
 220, 227, 250, 264
- Лавров П. Л.** 23, 27, 28,  
 66, 67, 70—77, 82—85,  
 90, 94—98, 100—108,  
 111, 152, 158, 191,  
 196, 197, 204, 227—229,  
 253
- Лассаль Ф. 204  
 Лебедева Т. И. 26, 40,  
 49, 51, 64, 77  
 Левенталь В. 170  
 Левин Ш. М. 115  
 Ленин В. И. 3, 7, 8, 82,  
 203, 219, 252  
 Леопарди Д. 38  
 Ле Ру Ю. 164  
 Леруа-Болье А. 173

Лизогуб Д. А. 49, 50,  
207, 242, 244, 245  
Личкус Ф. М. (Крав-  
чинская) 14, 15, 17,  
18, 25, 29, 35—36, 40,  
43, 44, 48, 53, 54, 57,  
59—63, 67, 71, 108,  
125, 131, 132, 179,  
180, 184, 196  
Лопатин Г. А. 82  
Любатович О. С. 15, 17,  
21—24, 28, 30, 40,  
48—50, 57, 63, 65, 79,  
85, 151, 152, 181, 183,  
184, 188, 209

Мадзини Дж. 43  
Майская А. А. 18  
Майский И. М. 18  
Малиновская А. Н. 16,  
49, 51, 208  
Маркевич Б. М. 251  
Маркс К. 29, 52, 82, 85,  
204, 213, 228  
Маркс Э. (Эвелинг) 124,  
251  
Матвеева Р. 224  
Медне Э. М. 219  
Мезенцев Н. В. 14, 16,  
31, 147, 189, 196, 266  
Михайлов Адриан 16, 49,  
51, 77, 208  
Михайлов Александр  
16, 49, 51, 77, 208  
Михайлов М. И. 260  
Мольер Ж.-Б. 207  
Морозов Н. А. 23, 24, 28,  
30, 37, 63, 64, 77, 79,  
183, 184, 209, 264  
Моррис В. 6, 178, 240  
Мышкин И. Н. 114, 204

Натансон О. А. 208  
Нечаев С. Г. 21  
Никитина В. П. (Жандр)  
174  
Николай II 82  
Новицкий В. Д. 264, 265

Ольхин А. А. 16  
Оржевский П. В. 194,  
195  
Осинский В. А. 48, 49,  
60, 65, 208, 211, 223  
Островский Н. А. 259

Павловский И. Я. 32  
Павлык М. И. 138, 193  
Перовская С. Л. 14, 30,  
49, 50, 52, 53, 110,  
147, 162, 164, 175, 176,  
204, 211, 216, 218,  
220, 230, 236—238, 252  
Пистолези А. 39  
Плеве В. К. 150—152  
Плеханов Г. В. 23, 71,  
83, 90, 115—119, 124,  
130, 131, 140, 206, 214,  
218, 252  
Плеханова Р. М. 113  
Победоносцев К. П. 194,  
195  
Полонский Я. П. 256  
Потье Э. 260  
Прибылев А. В. 146  
Пушкин А. С. 262  
Пыпин А. Н. 42

Реклю Э. 6, 108—111,  
159, 230  
Рогачев Д. М. 54  
Рот 108, 137

Ротштейн А. 178  
Рошфор А. 27—29  
Рысаков Н. И. 147

Салтыков-Щедрин М. Е.  
204

Слепцов В. А. 255  
Слиепчевич П. 6, 178  
Соколов В. Н. 213, 214  
Соттер 161

Станюкович К. М. 32,  
35, 39, 81

Стасюлевич М. М. 42,  
120

Стефанович Я. В. (Дмитро)  
14, 23, 31, 40,  
44—47, 49, 51, 53—57,  
60, 65, 67—72, 77—80,  
90, 94, 112, 134, 138—  
158, 192, 193, 194, 198,  
206, 235

Струмлиин С. Г. 214,  
215

Судейкин Г. П. 150, 152

Талер К. фон- 166

Таратута А. Г. 249, 250

Твен Марк 6, 178

Тельсиев А. 64

Террайль П. дю- 44, 46

Тихомиров Л. А. 26, 32,  
44, 46, 83, 253, 262

Толстой Л. Н. 7, 119, 204,  
239—245, 256, 262

Тревес Э. 57, 66, 72,  
93, 105, 107

Трепов Ф. Ф. 12, 112,  
113

Тун А. 252

Тургенев И. С. 7, 120,  
177, 227—231, 236—  
241, 255, 256

Уайльд О. 121

Ульянов А. И. 16

Успенский Г. И. 103,  
104

Фейхтвангер Л. 257, 258

Фигнер В. Н. (Филиппова) 49, 51

Фонтана Ф. 37, 40, 41,  
43, 44

Франжолл А. А. 188

Франко И. Я. 193

Фроленко М. Ф. 14, 49,  
51

Халтурин С. Н. 181, 813,  
184, 187, 188

Хотинский А. А. 83

Цакни Н. П. 65, 158, 159,  
174, 230

Цеткин К. 178

Чайковский Н. В. 14

72, 73, 75, 76, 136,  
158—163, 166, 169,  
171, 182, 185, 187,  
188, 205, 209

Чернышевский Н. Г.  
101, 255, 259

Шишко Л. Э. 109, 205

Энгельс Ф. 11, 82, 124,  
204, 213, 251

Эпштейн А. М. (Анка)  
17, 18, 20, 21, 24, 30,  
43, 44, 55, 59—64,  
66—69, 71, 72, 81,  
106—108, 125, 128,  
134, 137, 140, 177,  
204, 218, 231—234,  
235, 247, 250

*Таратута Евгения Александровна*  
**ПОДПОЛЬНАЯ РОССИЯ**

Редактор *Э. Б. Кузьмина*

Художник *С. В. Соколов*

Художественный редактор *Н. Д. Карандашов*

Технический редактор *Н. И. Авругис*

Корректор *Н. И. Рубинчик*

Сдано в набор 6. III. 1967 г.

Подписано к печати 11. VIII. 1967 г.

Формат бум. 70×90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>

Печ. л. 8,5 (9,94) бум. № 2. Уч-изд. л. 9,65

А 12152. Тираж 20 000

Заказ 84. Цена 49 коп.

Издательство «Книга»

Москва, К-9, ул. Неждановой, 8/10.

Тульская типография Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров СССР

г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109